



Павел **ПЕППЕРШТЕЙН**  
Военные рассказы

*Ad* **M**arginem



ПАВЕЛ  
ПЕППЕРШТЕЙН

# ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

*Ad Marginem*

УДК 821.161.1-31.Пепперштейн  
ББК 84 (2Рос-Рус)6-44  
П74



Иллюстрации выполнены творческой группой  
Эмблема-Эмбрион по заказу фонда Дебрис

Макет и обложка: Станислав Антонов

ISBN 5-91103-001-2

© Павел Пепперштейн, 2006  
© Рисунки в тексте - И. Разумов, П. Пепперштейн, 2006  
© Издательство «Ад Маргинем», 2006

Высоко, высоко  
Взлетел сокол.  
Высоко, высоко  
Взлетел сокол...

Выше того, выше того  
Моя радость  
Выше того.

*Песня*

Война вскрывает тайны, к ней  
самой отношения не имеющие.

*Клаузевиц*

- 9 ... БОГ
- 15 ... ПЕРЕВАЛ
- 20 ... СТЫЧКА В СТЕПИ
- 29 ... ОТЕЛЛО
- 33 ... ТЕЛО ЯЗЫКА
- 42 ... ЯЗЫК
- 70 ... СТЕЛЯЩИЙСЯ (ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ 11 СЕНТЯБРЯ)
- 73 ... АМЕРИКА
- 83 ... ГРАНИЦА
- 88 ... РОССИЯ
- 96 ... РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЗУБЫ
- 104 ... ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА
- 109 ... ЖЕЛТЫЙ КОНВЕРТ
- 113 ... ПОДВИГ МОДЕЛИ
- 118 ... ЖИВОЙ ГРОБ

# СОДЕРЖАНИЕ

КАЗАНТИП ...	124
КОНЕЦ РОМАНА О ВОЙНЕ ...	128
Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ...	145
ПРИЗРАКИ КОММУНИЗМА И ФАНТОМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ...	148
ЭСКАДРА...	167
ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ ...	180
ПРОЖОРЛИВЫЙ ТОРТ...	189
ВОИНА ПОЛОВ...	200
АБСТРАКТНЫЕ ВОЙНЫ ...	240
ЖИДКИЕ ВОЙНЫ ...	254
АТАКА...	258
НЕУДАЧНАЯ ИСПОВЕДЬ...	265
ЕНОТ ИЗНУТРИ. ...	268
ВОЙНА ДНЯ И НОЧИ...	278
ПЛАЧ О РОДИНЕ...	281

В 1919 году корпус кавалерийского генерала Белоусова, спешно отступая, натолкнулся на разъезд красных в районе станции Можарово. В ходе внезапного и недолгого боя красные были уничтожены, командир разъезда захвачен в плен. Его привели в полевой штаб полковника Гессена Алексея Михайловича, который приходился братом известному любителю античности. Штаб разместился в комнате станционного директора. Немолодой полковник в спешке писал письмо, когда ввели арестованного. Полковник бросил на него взгляд сквозь хрестоматийное пенсне: перед ним стоял человек лет двадцати пяти, смуглый, подтянутый, в кожаной куртке, галифе и сапогах. Обычный военный, каких Гессен видел тысячи.

— Ваша фамилия? — спросил Гессен, пририсовывая в конце письма к завершающей французской фразе шутивного плачущего ангела.

— Назаров, — ответил арестованный.

Гессен хотел задать еще несколько вопросов, но одновременно зазвонили два телефона и вошли два офицера с сообщениями. Времени на допрос у полковника не нашлось.

— Здесь поручик Ветерков, по вашему распоряжению, — наклонился к Гессену адъютант.

— Очень хорошо, — полковник быстро запечатал письмо и надписал длинный конверт. — Пускай отвезет это в штаб корпуса и передаст Литвинову. Тот сегодня отбывает в Одессу. И вот еще...

Гессен пожевал бледными губами под аккуратной щеточкой полуседых усов:

— Этого красноармейца надо бы расстрелять. Мы нынче ночью уходим, и все такое прочее... Некогда с ним возиться. Прикажите Ветеркову, уж заодно... Пусть не взыщет, передайте. И не надо на станции. В лесу. Всё.

Лес, сначала жидкий и скучный, но постепенно густеющий и обретающий даже некоторую сочную красоту, начинался сразу за станцией. Поручик Ветерков шел по тропе, держа в правой руке револьвер, а перед ним на расстоянии пяти шагов шагал красноармеец в кожаной куртке со связанными за спиной руками.

Поручику еще никогда не приходилось никого расстреливать и он чувствовал себя странно. Пять лет назад он намеренно ранил в руку на глупой дуэли своего товарища, и после этого неделю не спал ночей. С тех пор он, будучи кавалеристом, научился махать шашкой на скаку и делать это так, чтобы эти блестящие взмахи смогли доставить смерть всаднику, скачущему навстречу. И, бывало, он совершал эти взмахи в бою, но бой есть бой... Чаше же он скитался между штабами с пакетами и поручениями.

«Главное — не говорить с ним! — нервно думал Ветерков. — Ни в коем случае не заговаривать... отвести поглубже в лес, выстрелить, быстро вернуться на станцию, там — в седло, и скоро оказаться далеко отсюда».

Станцию Можарово, куда он попал только что и первый раз в жизни, он уже ненавидел.

— Поручик Ветерков, если не ошибаюсь? — вдруг спросил конвоируемый через плечо.

— Откуда вам известно? — удивился Ветерков (вопрос вырвался, прежде чем он успел напомнить себе, что собирался ни за что не вступать в разговор).

— Слышал, как вас окликнули. Извините, мы не представлены, я — Назаров. А мне ваша фамилия знакома. Вы не в Тенишевском ли учились?

— Точно так, — согласился Ветерков. — Неужели и вы из тенишевцев?

— Был, но меня выгнали. И с треском. Вы ведь входили в компанию Кучевского, не так ли? Значит, вам должна быть известна история с Фоббсом?

— Так вы тот самый Назаров, который... Слышал, конечно. Ничего себе! Вот не думал встретить тенишевца! И как же вас угораздило оказаться у красных?

— Да так... Сложная история. Сами знаете, как бывает — то так, то эдак. А у нас с вами немало общих знакомых.

— Да, мне рассказывала о вас Лиза Ушакова. Она, кажется, была от вас без ума.

— Я знаю. А вы давно оттуда?

— Из Петербурга? С Корниловым ушел.

— Я хотел вас спросить о семье Роберг. Не слышали о них? Я был близок с этой семьей.

— Они в Одессе. Мэри, говорят, замужем.

— Вот как. Вот оно, значит, как... — Ветерков мельком увидел смуглый профиль Назарова. — Ну и с Богом, значит. Вам ведь расстрелять меня приказали?

— Не стану спорить.

— Смешно. Ну, Робергов увидите, скажите: Назаров просил кланяться и не поминать лихом. Ваш выход, поручик.

Назаров внезапно остановился и повернулся к Ветеркову. Лицо его казалось спокойным. Ветерков же был смущен.

— Даже не знаю... Это как-то неожиданно — встретить человека своего круга в этих местах, да еще при таких щекотливых обстоятельствах. Глупость какая-то. Я слышал, вы человек смелый, и вообще... Как вас, кстати, по имени-отчеству?

— Константин Сергеевич.

— Вот что, Константин Сергеич... А впрочем, ерунда, господин Назаров. Или товарищ Назаров... Вы ведь теперь товарищ, верно? Предлагаю вам дуэль. Положение, согласитесь, глупое, но я другого выхода не вижу. Отпустить вас просто так не могу, а расстрелять человека своего круга, друга своих друзей — это как-то... Это глупость. Коротче, я вас вызываю. Повернитесь-ка!

Ветерков развязал веревку, которой связаны были руки красноармейца, достал из кобуры второй револьвер и передал его Назарову.

— Как стреляемся? — спокойно спросил Назаров, беря револьвер и равнодушно разминая затекшие кисти рук.

— Предлагаю: с десяти шагов, по жребию.

— Хорошо, — Назаров кивнул.

Они отсчитали шаги, бросили жребий. Выпало стрелять первым Ветеркову.

«Вот все и решилось», — подумал он в тот момент. Он стрелял превосходно, глаз имел острый, охотился с детства. Стоя перед своим противником и целясь ему в сердце (поручик хотел, чтобы смерть Назарову выпала быстрая и безболезненная), Ветерков успел подумать о множестве вещей, как всегда бывает в такие решительные мгновения. Подумал, что в сознании Назарова сейчас проносятся все картинки и чувства завершающейся жизни, подумал, что Назаров держится молодцом, что сам Ветерков держался бы так же, он подумал мимоходом, что это происшествие надо поскорее забыть и поклонов от убитого не передавать. Затем попытался представить себе лицо Мэри Робертс (полагая, что именно это лицо сейчас вспоминает Назаров), но лицо Мэри поручик Ветерков помнил плохо, так как встречал ее лишь несколько раз, в больших компаниях...



- Почему вы не умираете? - спросил Ветерков.

Затем он выстрелил. Пуля пришлась прямо в сердце — Ветерков отлично видел своим острым зрением слегка дымящуюся дырку в черной кожаной куртке на груди Назарова. Но тот не падал — стоял, не покачиваясь, и смотрел на Ветеркова, как бы даже слегка улыбаясь.

«Может, у него сердце справа?» — подумал Ветерков и выстрелил еще раз. Назаров не падал.

Ветерков подумал, что происходит опять какая-то глупость, явно курьез, что надо бы, наверное, испугаться или начать хохотать. Он дождался немного ответного выстрела, одновременно проверяя пули в барабане своего револьвера. Затем выстрелил еще два раза. Последняя пуля пришлась Назарову в лоб, над переносицей — яркая струйка крови скатилась по лицу красноармейца, но он продолжал стоять, спокойно глядя на Ветеркова живыми, не замутненными болью глазами.

Ветерков спрятал револьвер в кобуру. Назаров улыбнулся, и в солнечном луче блеснули его ровные белые зубы.

— Почему вы не умираете? — спросил Ветерков.

— Потому что я — Бог, — ответил Назаров.

*Москва, 2003*

Весной 1945 года отряд итальянских партизан решил перейти высокие Альпы по довольно рискованной горной тропе, чтобы неожиданно ударить в тыл группировке немцев, установивших свою диктатуру в Северной Италии.

Надо было перейти через перевал, о котором в горных областях, где еще говорят на языке романч, рассказывали легенду, что во времена наполеоновских войн французский отряд перешел Альпы в этом опасном месте, чтобы внезапно атаковать австрийцев.

Итальянцы — сорок человек — шли горной тропой, вытянувшись цепью. Впереди два проводника из местных, за ними командир отряда. Внизу, в долинах, уже начинали зацветать деревья, а здесь, наверху, стояла вечная зима, везде разливалась совершенная белизна снега, и небо над пиками казалось зеркалом, которое ничего не отражает, кроме света. В какой-то момент вышли на обрыв, и отряд остановился. Все потрясенно глядели на другую сторону пропасти.

Черные базальтовые скалы, чьи глубокие морщины были полны снегом, отвесно уходили вниз — там, далеко внизу, виднелся крошечный черно-белый лес на остроге горы, а ниже все застилал тихий снежный буран, которому не под силу было взобраться на такую высоту. Но не вниз смотрели партизаны. На противоположной стороне пропасти — совсем близко, на расстоянии не более 10 шагов — на отвесную скалу сверху напол-

зал глетчер, из которого на поверхность скалы как бы стекла и застыла огромная капля прозрачного льда. Эта глыба льда висела над бездной, примерзнув одним своим боком к отвесной скале. Внутри глыбы можно было различить человеческие фигуры, человек двадцать, схваченных льдом словно бы в момент падения (или они боролись с течением неведомого потока?). Старинные мундиры и белые лица, и золотые позументы сквозь зеленый лед — это были, видимо, наполеоновские гренадеры: отборные, рослые, вытаращенные мужчины. Их пышные усы и светлые бакенбарды лучиками и завитками разветвлялись во льду, порознь общаясь с его (льда) кавернами и шрамами. Смерть их случилась почти полтора столетия тому назад, а они все таранились сквозь лед на этом отвлеченном от всего земного перевале: кто-то бессмысленно взмахнул саблей, и немало высокогорных солнечных дней, наверное, бликовали в ее клинке, и вспыхивали они праздничными искрами на золотом шитье тесьмы, по эфесу... да, рука мертвого предводителя сжимала бронзовую львиную головку с рубиновыми глазами — деталь сабельной рукояти.

Солнце вдруг проступило в зеркале небес, немало лениво и рассеянно — так иногда навещает людей Господь, ведь Он не всегда приходит судить и страдать, Он ведь, бывает, заглядывает в сотворенные миры случайно или с воображаемой инспекцией, подталкиваемый тем любопытством, с каким оцарапанный на локтях подросток обследует заброшенную стройку.

Да, выглянуло солнышко — и все засверкало и вспыхнуло великолепно в ледяной глыбе. Французских солдат не коснулась и тень тлена, их чувства последнего мига так тщательно сохранил музей-ледник, что страстное изумление одного, ужас другого, тупая седобровая флегма третьего — все



Старинные мундиры, и белые лица,  
и золотые позументы сквозь зеленый лед.

сохранилось во льду свежим и чистым, словно только что распустившиеся фиалки. У кого лицо было опутано взметнувшимися аксельбантами, у кого виднелся глубокий шрам от русского палаша или турецкой сабли, на медвежьих шапках серебрился тот иней, что серебрился в день их гибели. В центре неподвижно летящей группы темнела фигура генерала в черном мундире, он падал вместе с белой лошадью, вцепившись одной рукой в уздечку, другой же сжимал саблю, и так отчетливо все виднелось (как если бы лед был линзой), что удавалось прочесть девиз на клинке:

*amata nobis quantum amabitur nulla*

Бахрома его эполет взметнулась, рот широко открыт. Его заморозило в крике.

Командир итальянского отряда взглянул в замороженные глаза французского генерала. Казалось, эти глаза смотрят прямо на него из сердцевины льда. Взгляды командиров встретились — так всегда бывает на войне, когда встречаются два отряда. Живые, черные глаза итальянского командира взглянули в светлые, распахнутые глаза генерала. Ледниковые глаза. Показалось, что зрачки генерала чуть сузились. Партизан вздрогнул и словно впервые ощутил страшный мороз, убийственный холод, царящий в этих местах. Одновременно среди совершенной тишины родился некий звук: вначале тихий треск, словно далеко на соседней вершине заверещал сверчок, затем звук окреп и перерос в легкий скрежет.

И тут партизанский командир с ужасом увидел, что плотный лед возле открытого рта замороженного генерала начинает таять и возле рта быстро образуется некий коридор или туннель во льду, словно некая сила пробивает себе дорогу, стремясь вырваться на волю из ледяной глыбы. Это происходило стремительно. За несколько секунд до то-

го, как туннель достиг поверхности глыбы, партизан понял: это крик. И тут же он увидел дыру во льду с тающими слоистыми краями, и в горной тишине разнесся этот предугаданный крик — предсмертный крик генерала. В то же мгновение огромная трещина пробежала по телу ледяного сгустка: с криком смешался оглушительный треск, словно в ответ генералу закричал сам лед. Глыба распалась, и гигантские куски льда рухнули в пропасть, унося с собой вмерзшие в них тела.

Все исчезло далеко внизу, в снежном тумане, а горное эхо гасло и перекликалось, отражая крик и гул падения, и летел снежный вихрь, воспаряя, а партизаны все стояли неподвижно перед пустой отвесной скалой, с которой только что сорвалась ледяная глыба.

Через два дня они спустились с гор и атаковали эсэсовский корпус.

*Поезд Москва—Берлин, 2003*

Банда, известная под названием «Отряд Мадонны», совершила налет на городок, затерянный в степи. Никого не пощадив, они подожгли город и с добычей, привязанной к седлам, поскакали на быстрых своих конях прочь, в открытую степь. Длинные тени коней и всадников неслись перед ними, словно черные тропы, бегущие по красной от дальнего огня траве. Все всадники, с кровью и сажей на лицах, освещенные заревом, улыбались, радуясь добыче и ветру.

Впереди скакала предводительница отряда Мария Луиза Чиконе, известная в этих местах под кличкой Мадонна. Не страх, а просто лютой ужас наводило благочестивое это имя в здешних краях. Лицо ее на ночном ветру, промытое отсветами пожара, казалось прекрасным: оно было одновременно пьяным, кукольным и суровым, это экстатическое лицо. Тело Мадонны, невысокое и крепко сложенное, прочно держалось в седле, вздрагивали изящные мускулы под нежной кожей обнаженных предплечий. На груди висела икона ее покровительницы — Пресвятой Девы — вышитая алым бисером, в рамке из крошечных живых белых роз.

По правую руку от нее на вороном жеребце скакал страшный Майкл Джексон — когда-то он был негром, даже негритенком, но с тех пор лицо его покрыли боевые шрамы, и он скрывал их под слоем белоснежной краски. Его именем пугали детей во всех окрестных селеньях, и недаром: он



Никого не пощадив, они подожгли город  
и добычей, привязанной к седлам, поскакали  
на быстрых своих конях прочь, в открытую степь...

умел быть ужасным и приносить гибель, знал в этом толк. В бою он вертелся как смертоносная обезьянка, рассылая удары ножа, как петарда разбрасывает искры, но в седле сохранял неподвижность истуканчика: черные очки, белоснежное гипсовое личико, курносый носик (говорят, кончик носа ему отрезали в тюрьме), спутанные, длинные, черные волосы, летящие за ним по ветру, — все напоминало смерть, столь же острую и узкую, как его нож.

По левую руку от предводительницы скакал худой, старый бандит Дэйвид Боуи, один глаз у него был стеклянный, другой же словно замечтался о космосе, мелкие неровные зубы обнажались в якобы смущенной и печально-задумчивой улыбке, что появлялась на его красивом лице в ответ на волны загадочных предчувствий, пенящиеся в водоворотях и пучинах его мозга. Чуть поотстав, скакал за ним его верный боевой товарищ Мик Джаггер, с лицом грубым и страшным, а голову его туго стягивала косынка, пропитанная кровью.

Молоденькая и нежная Бритни Спирз неслась на белой легконогой лошадке. Эта девушка сохранила на своем милом теле (ради смеха или ради сентимента) школьную юбочку и курточку с гербом колледжа, где она прилежно училась всего лишь пару лет назад, теперь же и юбочка и курточка были запятнаны кровью ее жертв, сама же она кичилась тем, что не пролила еще своей девичьей крови и остается девственницей.

Здесь были и другие красотки, например, Дженнифер Лопес и Кристина Агилера, кровожадные креолки, чьи ласковые пальцы на скаку поглаживали рукоятки кинжалов, сохраняя в них возбуждение. Молодые, крепкие парни Энрике Иглесиас и Рикки Мартин сурово скакали рядом с боевыми подругами, а веселый, подонковатый и беспечный Роби Вильяме насвистывал песенку.

Курчавый мулат Ричард Принс по кличке Пушкин нарядился во фрак, снятый с убитого банкира, пальцы его пестрели перстнями, а ногти были длинные и острые.

Были здесь и еще ребята и девушки, кто совсем молоденькие, как брызги молока, кто и постарше, украшения старых банд, закоренелые в грабежах и налетах.

Все лица сияли упоением и счастьем хорошо сделанного дела, все были горды и пугающе прекрасны. Оптический эффект, похожий на вогнутое зеркало, возникший из сочетания скорости, большого огня и открытой степи, делал их огромными, раздвигал каждого и вытягивал, и казалось, страшные боги снизошли на землю и несутся по ее пустому лицу, упиваясь силой, все разрушая и сметая со своего пути.

Впереди, куда они неслись, темный горизонт смыкался с темным небом, и различима была длинная расщелина, заросшая низкими и кривыми деревьями, степной буерак, глубины которого не достигли отблески пожара. И внезапно некий другой отряд выдвинулся из темноты буерака и преградил дорогу отряду Мадонны.

Мадонна подняла вверх руку: отряд ее остановился. Два отряда стояли в степи друг против друга. Шум, лязг и ржаные скачки — все утихло, и внезапно стали слышны тишина и стрекот степи, и ее пряные таинственные ароматы. Люди Мадонны рассматривали тех, кто неожиданно преградил им путь. Постепенно изумленье, смешанное с гадливостью, воцарилось на их лицах.

Отряд, выдвинувшийся из буерака, был странный. Ребята Мадонны еще не видели в этих местах такой банды и таких ребят, да и ничего никогда не слышали о том, что водится здесь такое. Незвестную банду возглавляла тоже женщина, полная, немолодая и странная, она тяжело сидела в седле,

глядя в сияющее лицо Мадонны непонятным взглядом из-под полуприкрытых век. Во рту она держала кусочек янтаря, обработанный искусным ювелиром так, что он выглядел как кренделек говна. Атаманша перекаtywала его во рту, а иногда приоткрывала свои довольно тонкие губы в неожиданно шаловливой улыбке, чтобы показать янтарный кренделек на кончике языка. Зубы у нее были белые и ровные, причем на каждом зубе нарисован череп. Платье, совершенно непригодное для верховой езды, белело огромными ромашками на темном фоне, конек под ней был невысокий, черный и пушистый, и сидела она на нем по-мужски, уверенно раскинув полные ноги в красных морщинистых сапогах. В руке она держала золотую чашечку из кофейного сервиза, наполненную какой-то жидкостью — это было ее оружие.

Справа от нее восседал верхом полный мужчина в очках. Рубаха у него была на груди разорвана до пупка, а глядел он с такой скучающей безразличностью, с таким привычным отвращением, что казалось — перед ним живая пыль. На его груди в пухлый мужской сосок продето было золотое кольцо, на котором висела черная коробочка, откуда сочился равнодушный, двоящийся, привольный голос, поющий:

Ты живешь на одном,  
 Ну, а я — на другом,  
 На высоком берегу, на крутом...

В руках он держал топор. Слева от атаманиши сидел на коне смуглый и жирный парень, длинные черные волосы, заплетенные в тысячу косичек, рассыпались по плечам, черные вытаращенные глаза нагло сверкали, как маслята из травы, одежду его составлял красный камзол восемнадцатого века и розовое трико под камзолом. Руки в кружевах поигрывали пилой.



Страшная угроза и сила исходила  
от этих просьб, от этого меха.

Рядом с ним сидели вместе на одном коне, тесно обнявшись, две девочки — еще совсем маленькие: одна черноволосая, коротко стриженная, с белым вдохновенным личиком, другая рыжая, веснушчатая, похожая на английскую школьницу, второпях сбежавшую из окна. В руках они вместе сжимали осиновый кол, остро заточенный с двух сторон.

Еще виднелся беззубый парень, весь в мехах, с пистолетом, затем несколько крупных женщин, вооруженных бритвами, еще какие-то люди — кто щеголял в тельняшке, кто в парчовом колпачке, кто в гимнастерке, кто совершенно голый. Были и в шубейках или обмазанные салом...

Все это казалось странным. Из каких глубин и какая сила выдавила на поверхность этот пузырь?

Но люди Мадонны не привыкли долго удивляться. Руки потянулись к оружию.

Мадонна сплюнула, и ее святая воровская слюна рухнула в траву. В каждом из ее плевков был виден рождественский домик со светозарными оконцами, на который падал снежок, или же церковь сразу после праздника, откуда выходили люди, все в цветах, и радостно целовались, поздравляя друг друга...

Но Пугачева, которая все еще стояла перед Мадонной, приподняла свои нелегкие веки и с тяжеловесным кокетством взглянула в лицо противнице. Взгляды двух предводительниц встретились — так всегда встречаются взгляды командиров, когда на войне сходятся два отряда.

Атаманши отошли от своих банд, чтобы выяснить отношения (помериться силами) в быстром уединенном поединке.

В глазах Пугачевой ничего не отражалось, они были непрозрачно-карими, в них плескался какой-то туман, в тумане обозначалась снежная до-

рога, удаль, вьюга, тоска, даль... Кто-то добирался куда-то в санях по той дороге, но буран и мгла породжали тревожные сны: и вот уже огромный и страшный мужик с черной бородой выдвигался из мглы и преграждал дорогу саням, и ручищами указывал на свое тело в одной рубахе, мерзнувшее на холодном ветру...

Пугачева поднесла к губам (которые были накрашены, как две темные вишни) золотую чашечку и выпила ее содержимое. Тут же полное тело ее задрожало, пошло быстрыми волнами, ноги в красных сапожках, казалось, вот-вот пустятся в пляс. И действительно, она медленно обернулась вокруг своей оси, развела руки, склонила голову, по-народному передернула пухлыми плечами... Взгляд же ее, обращенный на неприятельницу, стал совсем порнографическим.

Внезапно она резко сорвала с себя нечто вроде короткой шубейки, что была на ней, и метнула к ногам Мадонны.

— Тулупчик заячий, — произнесла она хрипло. — Тулупчик... От предка моего достался. Вишь разошелся весь по швам. Зашей, дочка, тулупчик.

Мадонна взглянула на тулупчик. Тот лежал рваный, раскинувшись лоскутами грязного меха. Пахло от него вонью веков, и диким привольем, и бешенством. Пугачиха вся тряслась уже крупной дрожью.

— Зашей, дочка, зашей тулупчик мой рваненькай. Век не забуду, век Бога молить за тя буду...

В хриплом и низком ее голосе все отчетливее слышались кликушеские, гипнотизирующие нотки. Страшная угроза и сила исходила от этих просьб, от этого меха.

Мадонна смотрела на тулупчик, и на суровом лице ее неожиданно появилась нежность. Она сняла маленькую белую розу с иконы Пресвятой Девы, что висела у нее на груди, и бросила цветок

на темный старый мех. В ту же секунду мех весь вспыхнул от света, распался на крупные клочья — свет был так ярок, что, казалось, мех сторит и растворяется в нем, но лоскутки меха свернулись в подобие пельменей, завернулись конвертиками... и вдруг свет погас, а там, где лежал тулупчик, — там теперь толкалась и прыгала в траве гурьба живых зайчат. Зайчата блеснули глазками, рассыпались, разбежались, и исчезли в темных ночных травах. Мадонна с улыбкой проводила их взглядом. Затем лицо ее снова окаменело, в руке блеснуло оружие. Она устремила свои лучащиеся глаза на противницу, и прозвучал ее голос, тоже хрипловатый и бандитский, но пропитанный холодом святости:

- А теперь — исчезни!

2004

— Произведение искусства, — сказал скульптор, — как правило, хочет принять некоторую запоминающуюся форму — форму, которая несколько отличалась бы от других форм и в то же время дополняла бы их. Для этого оно в какой-то момент решается быть таким, а не иным.

Что же с ним станет, если оно вдруг вознамерится принять *все формы*? Если оно захочет быть *всевозможным*? Оно тогда станет невозможным. — Скульптор усмехнулся, поправил соломенную шляпу.

— Я вот решился, исходя из этих робких соображений, лепить лишь одно — атомный взрыв. Так называемые грибы, — он повел вокруг себя рукой, которая была смуглой, жилистой, к тому же щедро усыпанной темными веснушками, свидетельствующими о вежливом приближении старости.

Гости огляделись. Действительно, всюду в мастерской возвышались изваяния атомных взрывов — эти грибы и грибки разных размеров и оттенков, фарфоровые, мраморные, бронзовые, стальные, из золота, пенопласта, из воска, из коровьего навоза, из теста, стекла, из спрессованной пыли и красного дерева — они стояли то густой и мелкой толпой, на пыльных подоконниках, на столах и верстаках, а то расцветал посередине комнаты пышный и огромный экземпляр, видимо, еще не законченный, находящийся «в работе».

— Да, вот так я ограничил себя, — кивнул скульптор. — Ни стройных девушек, ни абстракт-

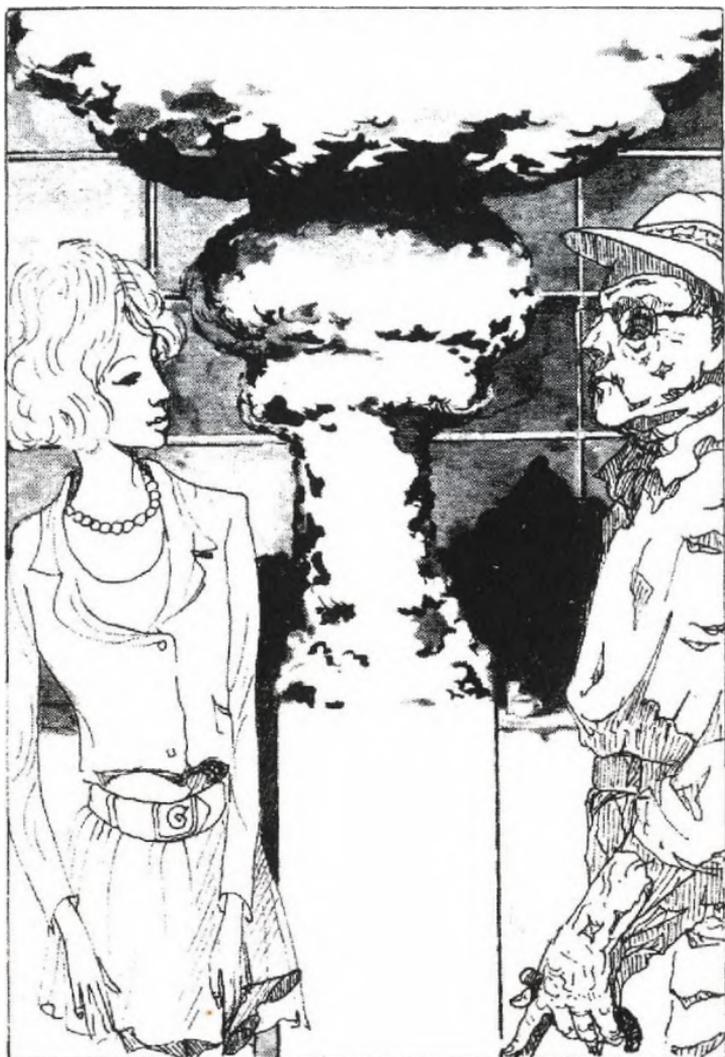
ных кубов, ни зверей — одни лишь атомные грибы. Внутри такого гриба, если уж он случается, все гибнет, исчезают все формы — так что мои скульптуры и статуэтки они и есть выражение тоски по *всевозможному* произведению искусства, содержащему все формы внутри себя.

Гости казались немного смущенными и обескураженными. Не зная, что и сказать, они с подавленным безразличием рассматривали изваяния грибов. Наконец одна дама осторожно произнесла:

— Наверное, это травма? В детстве вы, наверное, очень боялись ядерной войны. Может быть, какой-нибудь фильм?

— Да нет, особо не боялся. Как все. К этому выбору меня подтолкнули абстрактные философские размышления и сны. Нет, война мне не снилась никогда. Странно, я человек страстный, в жизни страсти обрушивались на меня, как большие деревья: я влюблялся, ревновал, обожал, ненавидел и прочее. Но снились мне всегда одни лишь отвлеченные рассуждения, так называемые «возможности». Возможные формы мысли. Сны мои всегда, с раннего детства, были отвлеченными от моего собственного существования перечислениями этих возможностей. И меня самого в моих снах никогда не было. Никогда. В этом-то все и дело, — скульптор пожевал губами, как задумчивый старик. Печаль и удовлетворенность одновременно присутствовали в его голосе.

Дикий южный сад с кривыми и пышными деревьями виднелся за огромными окнами мастерской. Дальнее море блесло сквозь пыльные стекла. Одна из девушек, из числа гостей, остановила свой взгляд на чашке с остатками чайной заварки. Наверное, ей просто не хотелось смотреть на атомные грибы.



- Да, я обуздал свои страсти с помощью моих скульптур, и теперь, в награду, этот сад делится со мной своими тайнами. Прогуляемся?

— Да, я обуздал свои страсти с помощью моих скульптур, и теперь, в награду, этот сад делится со мной своими тайнами. Прогуляемся? — хозяин мастерской пригласил гостей в сад. Они пошли по тропинке, а заросли вокруг становились все гуще, все благоуханнее.

— Я покажу вам одну из тайн этого сада, — сказал скульптор, наклоняясь возле огромного белого камня, на котором виднелись яркие пятна мха. — У нас здесь живет один... тролль. Мы называем его Отелло, потому что он очень ревнив.

Скульптор пошарил рукой в траве, затем быстро прихлопнул комара на загорелой шее. Гости внезапно (все одновременно) разглядели крошечного коричневого человечка, голого и сморщенного, похожего отчасти на ящерицу, который неподвижно сидел у самого края камня, в траве.

— Ну, Отелло, открой-ка свои глазки! — добродушно позвал скульптор. Морщинистые веки человечка дрогнули, приоткрылись, и на гостей взглянули его темные, глубокие глаза. Когда-то в этих глазах плескалась бездонная злоба, беспричинная и яростная, кажется, способная зажевать мир, как неисправный магнитофон зажевывает магнитную ленту с записью прекрасной музыки. Но потом эти глаза устали, зло этого существа стало кротким, ленивым, даже надломленным, и теперь он просто грелся у теплого камня.

— Он не разговаривает, но ему можно осторожно пожать лапку, — промолвил скульптор. Гости по очереди наклонились, и каждый бережно прикоснулся кончиками пальцев к крошечной, хрупкой, протянутой вверх для рукопожатия ручке Отелло.

*Хидра, 2003*

В октябре 1943 года две танковые группы, подкрепленные конной дивизией генерала Доватора, так глубоко вклинились в расположение противника в районе Миллерово, что им самим стало грозить окружение. Однако планы неприятеля в этом районе оставались неясны, и неясно было, насколько измотаны здесь немецкие части, располагают ли резервами в людской силе и в технике, могут ли они в ближайшее время решиться на контрудар, чтобы взять в клещи прорвавшиеся части Красной Армии.

Чтобы прояснить ситуацию, штаб дивизии активизировал деятельность полевой разведки. Позвонили и в штаб полковника Сазонова, который стоял на самых передовых позициях, почти нос к носу с частями СС, базировавшимися в Калаче. Позвонили с требованием выслать людей через линию фронта, чтобы срочно достать и привезти «языка». Причем в штабе дивизии требовали не простого, а хорошего языка, в чине не младше майора, осведомленного о немецких силах и планах.

Уже через десять минут после звонка к Сазонову у него в блиндаже сидели майор Тихонравов и капитан Челышев, обсуждая засылку в тыл к немцам своих людей.

— Засылать надо сразу в нескольких местах, группами по четыре — пять человек. Переходить линию фронта ночью, и каждый раз переход сопровождать отвлекающей операцией на соседнем

участке... — уверенно говорил Тихонравов, постукивая папиросой по крышке портсигара.

— Ночью это хорошо, — улыбнулся Челышев, — ночью все волки серы. Даже белые волки. Только, Аркадий Донатович, запускать сразу такой караван это значит всех немцев переполошить на линии. Я бы для начала запустил одного — одного единственного. Есть у меня такой единственный, который стоит многих. Стольких фрицев приволок — словно нюх у него на них! Пускай сходит туда, а там посмотрим. Один тихий человек линию не вспугнет, воды не замутит. Как говорится: хороший конь борозды не испортит. Авось дорогого гостя нам приведет. Дайте мне две ночи — пусть мой человек поработает, а вы пока что готовьте ваши группы по пять человек.

— Две ночи много. Одну ночь даю тебе, капитан, — нахмурился Сазонов, — пускай человека. И завтра доложишь.

Человек, о котором шла речь в блиндаже, той же ночью пересек линию фронта. Капитан Челышев и другие офицеры знали этого человека как рядового полевой разведки Егора Сычова. Знали, что он мастер своего дела и действует успешно даже в таких ситуациях, где другие бессильны. «Видно, такой дар у него! — говорили о нем. — Умеет стать невидимым, бесшумным, и словно видит в темноте. И слух у него острый. Да и фамилия говорящая: Бог шельму метит».

Произнося имя «Егор Сычов», они представляли себе спокойного, светлоглазого парня средних лет, худого, в сдвинутой набок пилотке — обычного на вид красноармейца.

Но перед тем, как идти на дело, Сычов переоделся во все гражданское и нырнул в темноту. Как он прополз через линию фронта, никто не

видел. Он работал без прикрытия, без огневой поддержки — любил сливаться с землей. Если бы увидели его сейчас те, кто отдавал ему приказы, то не узнали бы его. Он двигался как червь и, почти не отрывая лицо от земли, усмехался. Такой кривой улыбочки, с поблескиванием медного зуба в углу рта, не видали на этом лице командиры. Да и не знали о нем толком. А он уже был не рядовой Егор Сычов, а Сыч, когда-то известный в Одессе вор.

Сыч справился с заданием. Он действительно имел талант к таким вещам. Те же самые способности и свойства, которые сделали его некогда воров-виртуозом, помогали ему теперь быть идеальным лазутчиком: нечто содержалось в его теле (совершенно незаметное и неухватываемое внешним взглядом), что роднило его с ночными животными-охотниками. Как и куда он подкрался, как почувствовал свою жертву, как подстерег и как схватил — об этом не расскажешь, и не потому, что лень, а потому, что это вроде бы не из мира людей и слов, а из мира животных тайн.

Взял штабного майора, немолодого, лет под шестьдесят, с интеллигентным приятным лицом. Сыч по опыту знал: в «языки» надо брать человека, в котором есть что-то вызывающее симпатию. Всякая хорошая работа держится на приязни, ведь силой ненависти не сработается точная вещь. Слегка оглушив, отточенным, выверенным движением снарядил кляп, завязал глаза тряпицей, руки и ноги плотно скрутил. Фашист превратился в большой и очень тяжелый куль, но Сыч (худой и тщедушный на вид) отличался страшной физической силой и железной выносливостью.

Обратно (как он и задумывал) шел по реке, краем Дона, то хоронясь под откосами, то двига-

ясь по грудь в воде затонов, держа на плечах живую ношу. Он умел идти по воде без плеска, как если бы это была не вода, а жирное тихое масло. Майор не трепыхался: видимо, потерял сознание.

Когда Сыч был где-то на середине своего острого пути, началась перестрелка на другой стороне реки. Засверкали гаубичные огни, развернулись белые ленты и всполохи батарейных выстрелов. По реке стали гулять сразу два луча от мощных прожекторов, где-то совсем недалеко, сверху, послышалась мелкая ружейная стрельба и автоматные очереди. Сыч понял, что надо ныкаться.

Место попало неплохое: глубокая узкая ложбина, выемка в стене откоса. Здесь следовало ждать затишья. От нечего делать Сыч стал осматривать майора в прожекторных отсветах. Тот был весь мокрый, седая голова с круглой лысиной на макушке бессильно свешивалась на грудь, с волос, из сапог и из рукавов мундира текла донская вода.

Что-то встревожило Сыча в майоре: слишком обмякший.

— Неужели захлебнулся? - тревожно подумал лазутчик.

Он быстро развязал ему глаза, освободил от кляпа рот. Глаза были открыты и казались безжизненными, пульс не прощупывался. Сыч грязно ругнулся и стал пробовать сделать майору искусственное дыхание, он приник к его рту, но тут вдруг ощутил своим языком язык майора — холодный и странно свернувшийся словно трубочкой. Сыча всего передернуло, он отпрянул, гадливо сплюнул, и мгновенно осознал: язык умер.

— Отмучился Язык Языкович, — прошептал Сыч, внезапно подобрев. Он приобнял плечо врага, чувствуя себя спокойно, хотя смерть языка перечеркивала весь смысл, весь героизм его отчаянной вылазки. От офицера пахло одеколоном, старостью, рекой.

— Ну, значит, это самое... Сподобил Господь. Шо ты сделаешь, — шептал Сыч.

Он понял, что Язык Языкович (так он прозвал майора в тот миг, когда ощутил своим языком язык «языка») не захлебнулся, а просто умер — то ли от сердца, то ли просто от старости и испуга... Жаль, лицо у старика было хорошее: умное, интеллигентное. Содержательное лицо, и не упрямое — такой человек явно знал многое и хорошо бы все рассказал в штабном блиндаже. А теперь — даже не понятно, что делать? Попадаलोво. Бросить мертвого майора и идти за новым языком? План удалой, но безумный — майора уже хватились, везде переполох, да и перестрелка не затихает... Не пройдет. Да и сил хоть и много дала природа, но и их (точно рассчитанных) не хватит на второй заход. Возвращаться пустым — свои не поймут. Значит, надо брать тело языка и нести к своим. Глупый, но единственно правильный вариант.

Однако выходить из укрытия было еще рано. Ничего пока не успокоилось: напротив, стрельба становилась все горячее, а прожектора и зарницы освещали все вокруг как на допросе. От нечего делать Сыч стал обыскивать старика. Нашел удостоверение NSDAP, очки, пистолет «Вальтер», недописанное письмо. Сыч развернул письмо: почерк ровный, четкий. Жаль, по-немецки он не понимал, однако понял, что письмо адресовано не жене или детям, а некоему профессору. В начале письма стояло: *Sehr gehertete Herr Professor!* В письме встречались небольшие, бегло сделанные схемы и формулы — то ли математические, то ли химические — Сыч не разобрал. Он бережно спрятал письмо — оно могло заинтересовать штаб. Затем продолжил обыск. Нашел хорошие карманные часы и хороший нож, некоторое количество денег, ключ, перламутровую расческу, карандаш,

коробочку с пузырьком какого-то лекарства, темно-коричневого стекла... Затем, прощупывая верхний карман мундира, он почувствовал некий твердый овальный предмет, зашитый в нижней части кармана. Ножом он профессионально вспорол нижний шов кармана, достал предмет. Предмет был завернут в несколько слоев тонкой папиросной бумаги, которая тоже вся была исписана формулами и вычислениями. Сыч развернул предмет и присвистнул от изумления.

На его ладони лежал огромный рубин. Идеально ограненный, гладкий как лед. В его ярко-красной глубине и на его фанях вспыхивали сияния и переливы — мягкий, глубокий, сладко-алый отблеск упал на лицо пораженного лазутчика. Этот свет был нежным и сочным, пряным и сладко свежим, соленым как кровь и сладким как фруктовый сок, и этот красный свет пылал, тлел и шелково переливался, играя сам с собой в своей прозрачной, но неисчерпаемой глубине, и не ослепить его было даже белым сиянием взрывов, прожекторов и зарниц.

...Сыч внимательно смотрел на камень.

— Фарт, — подумал он, — я всегда был фартовый. Не майора взял, а Курочку Рябу. С дорогим яичком. Старое чутье сработало, воровское. Эх, жисть прошедшая...

Он еще раз посмотрел на рубин, потом на труп майора. В стрельбе обозначилось затишье, надо было срочно двигаться к своим. Он снова взвалил мокрого майора на плечи, крикнул под его тяжестью, потом несколько секунд размышлял, куда бы пристроить рубин, и вдруг решительно и быстро положил его себе в рот.

Гладкий, прохладный камень лег на язык, как леденец. И тут же что-то невероятное произошло с Сычом. Голова его наполнилась светом, ярким,



Мощные руки с длинными изогнутыми когтями хищно и нежно прижимали к величественной груди маленький труп майора.

красным, переливающимся. Сладость и холод хлынули по языку внутрь тела, и холод становился пронзительным, сладость нестерпимой. Мозг Сыча зажегся и засиял как электрическая лампочка, точнее, как огромная люстра, обрызганная кровью. В теле словно начала разворачиваться колоссальная пружина, прежде сжатая, и тело стало раздвигаться как телескоп, расти и изменяться, крича от ужаса трансформации и от бешеной, раздвигающей его силы. Сычу в первый момент показалось что он наступил на противотанковую мину: он собирался предсмертно заорать, улета, но... С хрустом разорвалась и упала одежда, лопнул прочный кожаный ремень, треснули и осыпались с ног кирзовые сапоги... Тело, совершенно нагое и огромное, продолжало раздвигаться как антенна, оно взметнулось вверх и огромно повисло над ландшафтом. Ничего общего с прежним Сычом не имело это существо — это была колоссальных размеров голая женщина, ее лицо было грозным, страшным и величественно-прекрасным, брови гневно сведены над переносицей, огромные глаза сверкали яростью, волосы витыми колоннами ввинчивались в звездное небо. Тело все сверкало алебастровой белизной, колоссальные ноги уходили вниз, к темной реке. Мощные руки с длинными изогнутыми когтями хищно и нежно прижимали к величественной груди маленький труп майора. Руки конвульсивно вздрагивали, и когти механически терзали труп, багровея холодной кровью...

На этой колоссальной фигуре, повешенной в небесах над рекой, мгновенно скрестились белые лучи прожекторов, снизу загрохотали зенитки, как немецкие, так и русские... — в сверкании взрывов, во всполохах гаубичных огней и зенитных залпов, в белом свете прожекторов стояла она

в воздухе — то ли валькирия, ледящий демон ужаса, то ли гигантская мать, прижимающая к сердцу мертвое дитя... Ее коралловые губы, словно орошенные космической кровью, дрогнули, рот разверзся в полукрике-полусвисте, или это был пронзительный клетот, заставивший оцепенеть батальоны и облака, и стало видно, что в длинных острых зубах она крепко сжимает драгоценный рубин, разбрасывающий во все стороны струи кровавого света.

Этот волшебный рубин стал новым языком богини: на этом языке она сложит новые песни прежде невиданной ярости.

В 2008 году один партизанский отряд отступал под натиском правительственных войск в джунглях Латинской Америки. Отряд был большой, марксистский, существующий давно, знаменитый: история его борьбы насчитывала лет тридцать пять, он существовал с семидесятых годов XX века, он воевал в лесах, иногда захватывал города, иногда бывал полностью разбит и уничтожен, но неизменно возрождался и снова начинал борьбу. Иногда он примыкал к другим повстанческим армиям, порою командиры этого отряда входили в правительства, но длилось это недолго, и они снова уходили в леса, сопровождаемые верными людьми и их автоматами.

С 2004 года этим отрядом руководила женщина, легендарная в этой стране Аурелиана Толедо, более известная как команданте Аура. Это была тридцатипятилетняя полуиндианка — невысокая, темнокожая, черноволосая женщина с красивым и решительным лицом. Это лицо в берете a la Че Гевара, со значком в виде маленького красного флага на берете, можно было видеть по всей стране на нелегальных плакатах и листовках. Когда-то она училась в университете в Северной Америке, потом стала популярной журналисткой, возглавила Центральный Комитет Фронта Свободы, в течение года была министром труда, но после военного переворота 2002 года взяла в руки автомат и ушла в леса.

Имя «команданте Аура» с тех пор стало символом сопротивления — о ней пели песни, о ней рассказывали индейские сказки в Интернете, на популярных партизанских сайтах. В 2007 году отряд Ауры поддержал попытку государственного переворота, предпринятую так называемыми «красными майорами», но переворот не удался, группа офицеров-заговорщиков была расстреляна, и правительственные войска перешли к самым решительным и суровым действиям против отряда Ауры.

В результате многочисленных боев и стычек с армейскими подразделениями отряд потерял более половины своих людей и уходил все глубже в леса. Правительственные войска шли по пятам.

В последние дни они предприняли попытку окружить и «запереть» отряд на довольно тесном и вязком участке джунглей, лишить его свободы перемещения и обречь на медленное угасание в безветренных испарениях болот. Необходимо было идти на прорыв.

Команданте Аура сидела в своей палатке, всматриваясь в экран маленького компьютера. Внезапно она захлопнула компьютер-чемоданчик и устало провела рукой по лицу. Через полчаса она должна выйти к своим бойцам, чтобы сказать им несколько слов перед началом атаки. Ей всегда удавалось это — она умела вдохновить своих людей, найти необходимые «магические» слова, чтобы вдохнуть силы в усталых, развеять сомнения, пробудить отвагу, заставить поверить, что смерть — всего лишь еле заметная черта на теле борьбы.

В палатку вошел Хуан Кайо, ее верный помощник и любовник, ее «субкоманданте», бывший этнограф, а теперь — уже много лет — один из умных и испытанных командиров.

— Все готово, — произнес он, глядя на нее своими темными, очень внимательными глазами. — Все готово к бою.

Они оба понимали, что означают эти слова.

Аура притянула его к себе, резким движением рванула пряжку старого советского ремня с пятиконечной звездой, расстегнула молнии на его камуфляжных штанах, достала его темный индейский член и быстрыми движениями языка заставила его стать твердым. Несмотря на суровую партизанскую жизнь, она была изощренной и страстной любовницей, любовь стала неотъемлемой частью ее борьбы и, когда война давала ей время, она отдавалась любви с исступленным искусством. Она в совершенстве владела «танцем языка», который заставлял ее любовников стонать от наслаждения, как от боли, и видеть сны наяву. Движениями языка она воспроизводила, как ей казалось, горячие ритмы тех танцев, которые мужчины и женщины издревле танцевали в ее краях, родная музыка звучала в ее мозгу, пока она делала это, и одновременно с музыкой приходили к ней слова — слова испанского языка, с вкраплениями индейских словечек и оборотов речи. Те слова, которые она скажет бойцам.

Она вышла к бойцам, ощущая на языке вкус спермы ее любовника — в этом вкусе скрывались для нее реки и тайные тропы страны, за свободу которой они боролись. Ощущая этот вкус на языке, она знала, что речь ее не останется бесплодной: она достигнет сердец.

Она встала перед бойцами отряда и произнесла:

Солдаты Революции!

Вы помните, что индейцы называют словом «вайехо»? Это болезнь, которая и сейчас встречается в наших деревнях — человек выглядит как все остальные, он исполняет свою ежедневную работу, он живет, но у него более нет ощущения жизни. Это болезнь, которой Капитал пытается заразить нас всех. На нас идут войной живые мертвецы —

# Солдаты Революции!



**Капитализм изменился — теперь он не приносит радости никому, и поэтому стремится уничтожить тех, кто еще знает вкус радости.**

Она вышла к бойцам, ощущая на языке вкус спермы ее любовника - в этом вкусе скрывались для нее реки и тайные тропы страны, за свободу которой они боролись.

Капитал купил не только их совесть, он купил само их существование. Сила, которой Капитал опутал весь мир, скрывает в себе бледную немочь. Его паучья сеть становится все плотнее, проникает во все щели. Капитализм изменился — раньше он приносил кому-то хотя бы злую радость, теперь он не приносит радости никому, и поэтому стремится уничтожить тех, кто еще знает вкус радости. Могучий Капитал пронизан завистью к нам, обездоленным, но не сдавшимся, последним сохранившим радость борьбы. Капитал сделал слово «поэзия» непристойным, он сделал слово «счастье» названием своих сделок, он сделал слово «жизнь» синонимом слова «нажива». Он уничтожил смысл слова «достоинство». Мы идем в бой не только за угнетенных и обманутых, мы идем в бой за крики птиц и за слова поэтов, нас ведет в бой сам испанский язык, требуя, чтобы мы вернули смысл его словам.

Мы идем против удушья, против «вайехо», против мира скользких роботов! Я посвящаю этот бой красному флагу, как поэты посвящают стихи возлюбленной. Говорят, под этим флагом или во имя его совершилось немало зла, но кто подсчитает, сколько зла было совершено во имя любви? Этот флаг, как Венера, становившаяся невинной после каждого соития, — каждый акт любви с ней есть кровопролитие. Тебя не сгноить в болотах, флаг любви! Тебя не купить! Ты — живой огонь наших сердец! Наша война — не такая, как у койотов наживы. Это — война жизни, война за прорыв сквозь паутину удушья! Да здравствует война! В бой, дети бедных!

Люди отряда вскинули вверх автоматы с криком: VIVA LA GUERRA! VIVA AURA!

Многие из них были индейцами и плохо поняли слова речи, другие — старые бойцы — слышали подобные речи много раз, но все это было неваж-

но — магия испанских слов, низкий таинственный голос Ауры, ее сверкающие узкие черные глаза, ее бесстрастное лицо — все это подействовало на них опьяняюще. Страх и усталость исчезли. Рассеялась спутанность мыслей и вялость движений, навеваемые джунглями. Бой начался.

Им удалось прорваться. Они контратаковали стремительно и отчаянно, отбросили правительственные войска и вырвались из заболоченного участка джунглей на плато, где леса были чище и суше и где много было разбросано деревень, сочувствующих красным герильерос.

На следующее утро Аура проснулась в одной из этих деревень, в спортивном зале католической школы, где временно разместился их штаб. Она сразу поняла, что с ней что-то произошло. Под ней был кожаный мат, над головой висели кольца для гимнастических упражнений, рядом спал Хуан Кайо, все было тихо, но она знала — произошло нечто ужасное. Сначала она подумала, что заболела одной из болезней джунглей, но нет — она чувствовала себя совершенно здоровой и полной сил. Она тихо встала, подошла к открытому окну. И внезапно поняла: у нее нет языка. Она оцепенела. Достала зеркало, заглянула в отражение своего открытого рта. Языка не было. Не виднелось никакой раны, ни крови, ничего подобного. Не чувствовалось ни малейшей боли. Язык просто исчез, как будто его не было никогда.

Она быстро достала флягу с ромом, сделала глоток. Спиртное слегка обожгло гортань, но она не почувствовала вкуса. Затем она закурила — было предельно странно вдыхать дым, не имея языка. Не имея этой чувствительной дорожки, по которой бежит дым.

Она задумалась.

Она спросила себя: что произошло? и ее сознание ответило одним единственным словом:

«Яба».

Это было индейское слово: так говорили в тех местах, где она родилась. Это слово, чрезвычайно важное для тех мест, означает колдовство. То, что произошло, могло иметь одно единственное объяснение — яба. Она стала жертвой заклятия.

Аура была убежденной марксисткой, но не «темной» марксисткой, она была образована и умна, и прекрасно понимала, что магия — это реальность. Ее индейские корни сообщали ей об этом, и она не думала, что между магией и марксизмом есть хотя бы малейшее противоречие.

Еще в юности, учась в университете, она выписала в свою тетрадь понравившиеся ей слова из книги советского ученого Проппа, который изучал сказки и ритуалы древности:

«Фрезер пишет, что физическая сила являлась решающим качеством во время ритуальных спортивных состязаний на могилах предков. Но Фрезер — буржуазный ученый, и его взгляд на вещи ограничен рамками его классового сознания. Мы же, ученые-марксисты, понимаем, что не физическая, а магическая сила играла решающую роль во время таких состязаний».

Аура сидела на корточках, на полу, в углу маленькой школьной кухни. Она сделала еще один глоток рома — вкуса она не чувствовала, но ей стало легче. Она закурила еще одну сигарету. Она напряженно думала над сложившейся ситуацией. Что делать?

Во-первых, следовало немедленно передать командование отрядом Хуану Кайо или майору Тахо — этим двум людям она полностью доверяла.

Второе: никто в отряде не должен знать, что с ней произошло. Слух о том, что команданте Аура стала жертвой яба и лишилась языка, мог подей-

ствовать на отряд деморализующе. Никто из бойцов не должен был даже видеть ее. Кто-то из близких людей (Хуан Кайо) должен как можно скорее отвезти ее куда-то в другое место, и она не должна возвращаться в отряд, пока заклятие не будет снято. Бойцам сказать, что она отправилась в соседнюю страну на тайные переговоры с тамошним правительством: существовала вероятность поддержки отряда со стороны этого правительства.

Третье: следует как можно скорее найти ябахохо, то есть разрушителя заклятий. Лучше, если он (или она) будет из ее родных мест, хотя до тех краев отсюда неблизко.

Составив этот план, она написала записку Хуану Кайо, разбудила его и протянула ему листок. Тот прочел следующее:

«Я не могу говорить. Ни о чем не спрашивай. Это яба. Бери машину и отвези меня в город».

Хуан Кайо не стал тратить время на пустое изумление. В ночной темноте они прошли по зданию школы, где везде — в гамаках и на полу — спали усталые бойцы. Затем они разбудили майора Тахо, объяснили, что уезжают на несколько дней, снабдили его необходимыми инструкциями, сели в маленький грузовик и покинули деревню. В следующем поселении они поменяли внешность и обзавелись подложными документами. Ауре пришлось продолжать путь в мужской одежде, волосы ее коротко подстригли: она превратилась в худого и малорослого метиса, немного мрачного на вид и напоминающего рајаго — гомосексуалиста. В кармане ее черного костюма лежало удостоверение на имя Рауля Юргенса, сотрудника солидной коммерческой фирмы, базирующейся в столице, — фирма действительно существовала и давно имела тайные связи с красной герильей. Всю дорогу она писала Хуану Кайо записки-инструкции. А потом поджигала эти записки и выбрасывала — они горя-

щими лоскутками летели за машиной. Во всех селениях их ждали, быстро предоставляли все необходимое: они меняли машины, облик, документы. Но Аура стабильно оставалась мужчиной. Словно с утратой языка она потеряла право на свой пол.

Через несколько дней их автомобиль остановился у одного дома на грязных окраинах столицы. Этот квартал пользовался дурной репутацией. Светящаяся, вся из красных и синих лампочек вывеска возвещала: «Стрип-бар Суавесеко». Это название можно перевести как «Потихоньку» или «Помедленнее», или «Притормози». Действительно, немало автомобилей тормозило у этого заведения. Двое мужчин в черном вышли из автомобиля и зашли в заведение: один крепкий, лет сорока. Другой — чуть женственный худой метис. Огромному охраннику на входе старший сказал только: «К Дону Гино».

Дон Гино встретил их в своем кабинете хозяина заведения. Это был лысый потный человек в красной шелковой рубашке, с лицом и усиками законченного подонка, казалось бы, состоящий из одной лишь спермы и денег, и лишь немногим было известно, что он проверенный человек Революции.

Кайо он узнал сразу, Ауру — не сразу. В кабинете душно пахло сигарами и алкоголем. Гино был готов к любым услугам. Кайо вкратце рассказал ему суть дела, без подробностей. Слово «яба» объясняло все.

— Я знал одну яба-хохо, — сказал Гино задумчиво. — Она жила в Кортэ Сиеста. Не знаю, жива ли она. Идите вниз, посмотрите стриптиз. А я сделаю несколько звонков, наведу справки об этой старой яба-хохо. Полюбуйтесь пока на наших девочек. Чудесный цветник. Наше заведение — лучшее, такого не найдешь в центре города. Если кто и сомневался, то в последние дни наши конкурен-

ты кусают себе локти. На днях появилась откуда ни возьмись одна красавица — ослепительная орхидея, танцует так, что дух захватывает. У нас нет отбоя от посетителей, за несколько дней мы стали богатыми, как Билл Гейтс. Она всех затмила. Ее зовут Хиральда — флюгер. Она так вертится вокруг шеста, что ветер сдувает пивную пену. Идите вниз, скоро вы ее увидите — он потянулся к телефону.

Кайо и Аура спустились в зал. Здесь действительно было набито битком: они протискивались сквозь толпу мужчин, пьяных и трезвых, с сигарями и без. Аура казалось, что все эти люди узнают в ней переодетую женщину и издевательски подмигивают — но на самом деле на них никто не обращал внимания. Публика здесь собиралась самая разношерстная — здесь были и люди с золотых приисков, с черными от *chimo* губами, расплачивающиеся золотым песком, и столичные подонки со сверкающими от кокаина глазами, и пьяные военные, и гринго, и люди в дорогих костюмах, сопровождаемые телохранителями: все здесь смешалось, и лица этих мужчин в синих отсветах возникали и таяли в плотном табачном дыму.

Девушки выходили на иллюминированную сцену одна за другой, исполняли свой танец вокруг шеста, раздевались в танце, им аплодировали, бросали деньги на сцену, иногда они выходили в зал, танцевали то у одного столика, то у другого, мужчины засовывали деньги за их условные трусики-шнурки. Они исполняли «танец лианы» вокруг того или иного посетителя, затем возвращались на сцену к шесту и там завершали свой танец. Аура казалось, что весь этот зальчик, прокуренный и душный, и все заведение «Суавесеко» — это нечто вроде механической карусели: пестрые жестяные лошадки бегут по кругу, звучит ржанье и колокольчик, но все неумолимо вращается вокруг блестящего металлического стержня, на который давит невидимая рука, — вокруг шеста.

Некоторые девушки были хороши, но все здесь ждали Хиральду, и то и дело начинали выкрикивать ее имя. И вот из-за красного бархатного занавеса появилась красивая длинная нога в красной туфельке, затем скользнула по бархату нежная длань с узкими пальцами, и вот сама Хиральда встала перед всеми в облегающем красном платье, осыпанном золотыми блестками. Все захлопали, загалдели, ликуя. Она обвела зал сонным, влажным, рассеянным взглядом — на секунду ее томные, облитые странной влагой глаза остановились на лице Ауры, кажется, она улыбнулась, и тут же начала танец. Аура много видела танцующих женщин, но такого она прежде не видала: что-то необычное, почти нечеловеческое присутствовало в этих движениях — их абсолютная плавность сочеталась с постоянно изменяющейся скоростью, казалось, это происходит само собой — то пламя трепещет, то льется водопад, то развевается флаг... Иногда казалось, что это тело — влажное, горячее, льющееся, все в золотых блестках — балансирует на грани исчезновения. Целые каскады движений, казалось, ускользают от взгляда, но оставляют в душе странные следы. Одежда тоже исчезала на этом теле незаметно и словно сама собой — красное платье вдруг повисло на раме одной из картин, заслонив темную Венецию, одна из красных туфель увенчала вазу в дальнем закутке зала, другая оказалась в руках у молодого офицера — Хиральда продолжала свой танец босая и голая, никаких трусиков-шнурков не осталось на ней, никаких даже бус или колец на пальцах — только золотые блестки и странная влага, покрывающая все ее тело, — полная нагота была этому телу совершенно соприродна, и если для других стриптизерш достижение наготы означало, как правило, конец их танца, то Хиральда сбросила с себя одежду в самом его начале. Ее изгибы и стремительные



...никаких трусиков-шнурков не осталось на ней,  
никаких даже бус или колец на пальцах -  
только золотые блески и странная влага,  
покрывающая все ее тело,...

полеты вокруг шеста (за которые она, видимо, и получила свое прозвище Хиральда, что означает «флюгер») — все это вызывало в зале восторженные крики, множество жадных и восхищенных мужских глаз впитывало в себя движения этого танца, но пристальнее других смотрела на танцующую команданте Аура, потому что как бы жадно не смотрел на женщину мужчина, другая женщина смотрит на нее все равно гораздо пристальнее.

Аура заметила, что и ее друг Хуан Кайо смотрит на Хиральду, как все другие, — с поглупевшим от восторга лицом. Команданте считала ревность (наряду с завистью) главной из буржуазных страстей, приводящих в движение скользкие машины Капитала, но странная, легкая боль все же коснулась ее сердца. Впрочем, это была не ревность — нечто другое, более странное. Она и сама была очарована этой танцовщицей, но не ее ослепительной красотой, а узнаванием — она точно знала, что никогда не видела эту девушку прежде, и тем не менее Аура узнавала в ней все. Она ее знала. Она предугадывала каждое ее движение за секунду до его совершения. Весь этот танец отражался в глубинах ее тела потоками предвосхищающих конвульсий. Внезапно Хиральда оказалась рядом с ней, она вся изогнулась и заглянула ей прямо в лицо. Аура услышала ее голос — хрипловатый и нежный, Хиральда произнесла:

— Я тебя знаю. Ты — женщина.

Что-то болотное и жаркое было в этом голосе, в этом слегка шепелявом, как бы неумелом, но страстном выговаривании слов. Нечто от тех мокрых джунглей, где недавно чуть не погиб отряд Ауры.

Аура кивнула. Она хотела что-то сказать, но не смогла — у нее не было языка.

Хиральда повернулась к Хуану Кайо, который смотрел на нее во все глаза, усмехнулась, провела рукой по его щеке. Затем она снова повернулась

к Ауре и прошептала ей прямо в ухо то ли насмешливо, то ли страстно:

— Это твой мужчина. Я знаю. У него на детородном органе родинка в форме маленькой пятиконечной звезды. Поэтому вы называете эту вещь «советской ракетой». Правда? — она снова усмехнулась, отпрянула и продолжала танец.

Аура оледенела. Они действительно в шутку называли член Хуана «советской ракетой ближнего радиуса действия» или же ракетой «Земля — Воздух». Аура была уверена, что эти интимные шуточки известны только им двоим. Неужели Хуан — любовник этой женщины и предатель их тайного языка? Это казалось бредом: последние годы Аура не расставалась с Хуаном практически ни на минуту, а танцовщица была так молода. Когда они успели? И где?

И вдруг она окончательно узнала эту танцовщицу. Знание пришло из глубины — из джунглей, от индейских селений, гнездящихся в крови Аурелианы Толедо. Юная танцовщица была ее языком — ее сбежавшим языком. Вот откуда эта победоносная влажность, эта гибкость. Хиральда подмигнула ей в танце.

Аура никогда не сомневалась в силе «яба». Теперь она видела, как «яба» разворачивает свой спектакль. Аура опрокинула рюмку с ромом, судорожно закурила сигарету. «Яба» была силой, и эта древняя сила внезапно встала на пути ее борьбы. Раньше она побеждала во всех схватках, ей удавалось выпутываться из самых опасных ситуаций. Но она никогда еще не сталкивалась в поединке с «яба». Она должна победить и в этом бою. Это — ее долг перед Революцией.

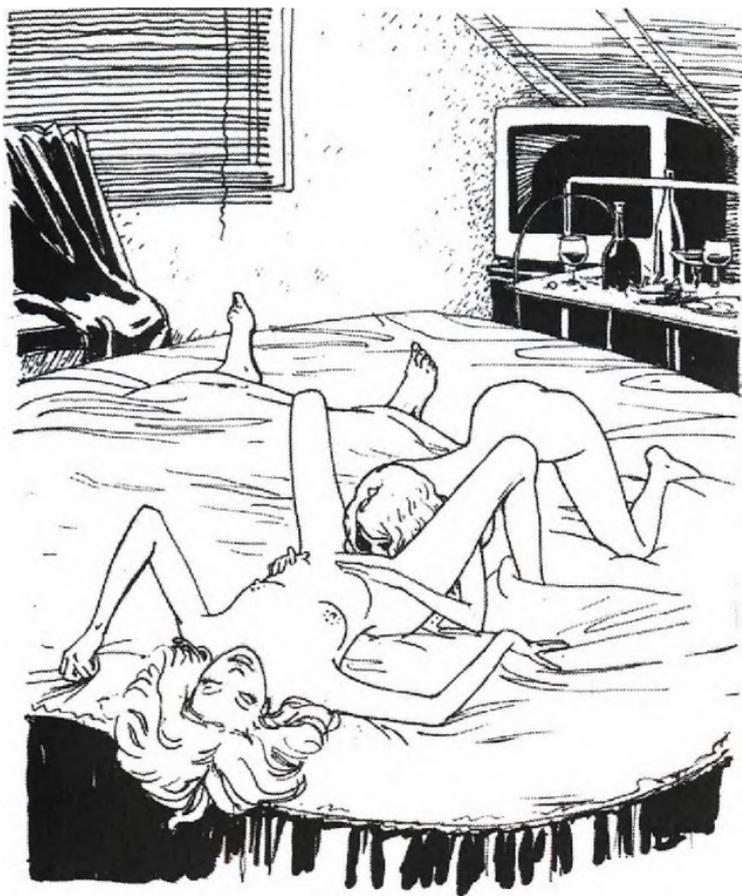
Кто-то тронул ее за плечо. Она оглянулась. За ней стоял Дон Гино и манил ее и Кайо за собой.

Их уложили спать в одной из комнат этого дома — комната, видимо, предназначалась для про-

дажной любви, судя по огромной красной кровати в форме сердца. Кайо и Аура были так измотаны, что заснули немедленно, стоило их головам соприкоснуться с подушками этого сердца. Но через час Аура проснулась — что-то пробудило ее. Она открыла глаза и увидела над собой лицо Хиральды. Глаза ее блестели в темноте, длинные волосы струились с плеч и достигали лица Ауры. Это щекочущее и благоуханное прикосновение и пробудило ее.

Танцовщица наклонилась, и ее влажные губы слились с губами Ауры — странность этого поцелуя трудно описать. У них был один язык на двоих, и в бреду ночи невозможно было определить, кому он принадлежит — он бродил по двум их сомкнувшимся ртам, затем Аура ощутила прикосновение этого языка к своим глазам, он пробежал по ее ключицам, плечам, скатился к соскам, твердым и темным. Голое тело Хиральды свилось с ее телом в один свиток, Аура ощущала это юное тело совершенно родным, она знала его на микроуровне, и сладкое дыхание этой девушки она, казалось, вдыхала еще до своего рождения, в округлой и поющей вечности. Рука Хиральды раздвинула ноги предводительницы партизанского отряда, и язык танцовщицы покатился вниз, как лавина.

...cette beaute va pencher tonta l'heure comme une avalanche... — эта красота покатится вниз, как лавина, — вспомнилась Ауре чья-то французская фраза, неведомо где услышанная или прочитанная. Горячая и влажная лавина докатилась до живота, проникла в пупок, и покатилась дальше, вниз, к широко раздвинутым смуглым ногам предводительницы. Язык проник в нее, юркий и нежный, танцующий и исследующий, живой и кристально-ясный, как мокрое пламя. Ауре пришлось закусить свои губы, чтобы не закричать от наслаждения — оргазм потряс ее тело и взметнул ее дух в какое-то сияющее небо, откуда (с боль-



...Язык проник в нее, юркий и нежный,  
танцующий и исследующий, живой  
и кристально-ясный, как мокрое пламя...

шой высоты) она увидела море, бескрайнее и спокойное. «Как давно я не видела моря...» — подумала она с легкой печалью (и как могла объявиться эта отстраненная печаль в эпицентре оргазма?), и на горизонте — там, где море смыкалось с небом, — она различила красную точку. Она настроила зрение, как настраивают бинокль, и увидела, что это крошечный далекий красный флаг, свободно и радостно развевающийся над морем...

В этот момент губы Хиральды вдруг оказались у ее уха, и Аура услышала ее шепот. С нежной насмешкой, со странной, почти проститутской лаской, танцовщица прошептала:

— Ты ведь всегда хотела сделать это сама... Но не могла дотянуться. А вот теперь дотянулась... — раздался тихий смешок, и с этим смешком Аура провалилась в сон.

Она проснулась на рассвете — Дон Гино тряс ее за плечо.

— Вставайте, команданте. Нам пора ехать в Корте Сиеста.

Аура огляделась. Хиральды нигде не было, рядом крепко спал Хуан Кайо. Она не стала его будить — сегодня он должен вернуться в отряд, чтобы принять на себя командование. Пускай выспится.

Она быстро встала, надела на себя свою мужскую одежду и прошла в кабинет Дона Гино. Там на стеклянном столе уже белели несколько аккуратных дорожек кокаина.

— Вам надо подкрепиться, команданте, — сказал Дон Гино, приглашающим жестом указывая на кокаин. — Вам нужна сила. Путь предстоит неблизкий. Я навел справки о яба-хохо. Та, что жила в Корте Сиеста, умерла. Но есть там ее ученица. О ней хорошие отзывы. Подкрепитесь, и мы выезжаем немедленно. Я отвезу вас. В таких делах нельзя терять время.

Аура кивнула, взяла из рук Дона Гино пластиковую трубочку, втянула в себя кокаин. Вообще-то она презирала наркотики, но сейчас ей действительно требовалась сила. Она помнила, как раньше приятно немел от кокаина кончик языка. Теперь онемела только верхняя губа, легкая заморозка тронула передние зубы.

Они выехали вдвоем, в машине Дона Гино.

Путь до КORTE Сиеста был долог. Их несколько раз останавливали военные патрули, но Дон Гино быстро договаривался с ними. У него имелись высокопоставленные покровители в армии и в правительстве. Их пропускали. Ехали без ночевки, подбадривая себя кокаином. Наконец они добрались до места, разыскали нужную женщину. Это была индианка примерно одного с Аурой возраста, с довольно суровым и замкнутым лицом. Они остались наедине с этой индианкой, в маленькой комнате, где ничего не было, кроме гамака и нескольких плетеных стульев. Индианка, конечно, слышала о легендарной команданте Ауре. Она наполнила глиняную миску водой, стала водить пальцами по водяной поверхности, глядя на дно миски. Затем высыпала туда некоторое количество соли, окрашенной в ярко-оранжевый цвет. Снова стала трогать воду, сидя с бесстрастным и неподвижным лицом.

— Это не наше «яба», — наконец произнесла она. — Такого «яба» нет в наших краях. Я не могу снять заклятие. Слушай: ты воюешь с людьми, их поддерживают гринго. В последнее время гринго влезают здесь в каждую щель, они растворили себя в нашем воздухе. Гринго не так просты, как кажутся. Они хитрые, как аллигаторы. Они воюют не только деньгами и оружием. Они изучили магию, которая досталась нам от предков. Они стали знать «яба». Ты слышала про дона Карлоса Кастанеду? Это гринго, которого когда-то послали, что-

бы он разведаль о «яба» в Мексике. Он был первым гринго, который стал делать «яба». Он написал об этом книги для гринго. За ним последовали другие. Добрались они и до наших краев. «Яба», которое схватило тебя, это «яба-гринго». Оно отличается от нашего, хотя основано на том знании, которое они украли у нас. Такое «яба» трудно снять. Но нет «яба», на которое не найдется «яба-хохо», разрушителя заклятий. Тебе нужен «яба-хохо», который был бы гринго. Я знаю одну женщину, она очень стара, она — гринго, она «яба-хохо». Она на нашей стороне, она поможет тебе. Она снимет с тебя «яба-гринго», если ты доберешься до нее. Эта женщина живет в Лагоне, ее зовут донья Долорес. Поезжай туда, и поспеши — она очень стара. Спроси о ней у нищих, которые сидят у входа в собор Санта Мария Иммаколата в Лагоне. Они ответят тебе к ее дому.

Аура вышла от колдуньи и протянула Дону Гино записку. Прочитав слово «Лагон», тот нахмурился.

— Лагон глубоко в джунглях и, говорят, в тех местах хозяйничают «контрас» — правые герильеро, — сказал он. — Ехать туда опасно. Но делать нечего — едем.

И снова они тряслись в джипе Дона Гино по лесным дорогам. На подъезде к Лагону люди с автоматами остановили их. Это были уже не правительственные войска. Дон Гино пытался договориться с ними, но они связали им руки за спиной, завязали глаза, затолкали в грузовик и повезли куда-то.

Когда с глаз Ауры сняли повязку, она обнаружила себя на веранде деревянного дома, перед ней в кресле-качалке сидел человек в форме полковника, с черной маской на лице. Он курил сигарету.

— Ты женщина? — спросил он.

Аура кивнула.

- Что ты делаешь здесь в мужской одежде? Кто ты? — спросил полковник.

Аура открыла рот и жестами показала, что у нее нет языка. Потом опять же жестами попросила дать ей бумагу и карандаш.

— Я стала жертвой «яба», — написала она. — У меня исчез язык. Я из столицы, меня зовут Роза Гелен, я пела в ночном клубе. Еду в Лагон, чтобы найти «яба-хохо» по имени донья Долорес.

- Я знаю донью Долорес, - сказал полковник. — Она сильная «яба-хохо», но зачем тебе язык? Ты - красивая женщина, стань моей третьей женой. Родишь мне пару детей. Язык тебе не нужен, я люблю молчаливых. Тебе повезло: здесь мало красивых женщин. Я делаю тебе хорошее предложение.

- Я замужем, - написала Аура.

— За этим толстяком, с которым мы тебя задержали? Его больше нет.

— Нет, не за ним, — написала Аура.

- Все это неважно. Ты будешь сидеть взаперти и обдумывать мое предложение. Времени у тебя сколько угодно. Пойдем.

Двое солдат вывели ее во двор, полковник шел следом. Посреди двора лежал мертвый Дон Гино. Полковник перевернул толстый труп носком сапога.

— Этому человеку не нужно было дальше жить, — сказал он. — Он нюхал слишком много кокаина, это очень вредно для мозга. Он стал совсем глупым, сам хотел умереть. Мы ему помогли.

Ауру заперли в чем-то вроде сарая. Потекли темные дни плена. Через несколько дней полковник зашел к ней, держа в руках газету. Это была коммунистическая газета, нелегально издаваемая в соседней стране. Полковник был без маски. Он оказался светловолосым, довольно молодым.

— Здравствуй, команданте Аура, — сказал он, бросая ей газету, — твой самец забыл тебя. Твое место заняла молодая красотка.

На первой странице газеты была большая — почти во всю полосу — цветная фотография: Хуан Кайо и Хиральда в камуфляже, с поднятыми вверх автоматами. Заголовок гласил: «Новые победы в джунглях. После смерти команданте Ауры ее отряд возглавила бесстрашная красавица — Хиральда Веньо. Она вдохнула в отряд новую жизнь, напоминающую о подвигах 70-х годов XX века». Внизу была маленькая черно-белая фотография Ауры в берете с подписью: "Она умерла за Революцию"».

Полковник засмеялся:

— Тебе нравится эта газета? Возьми ее себе, раз уж ты умерла за Революцию. А ей идет униформа. Я мог бы расстрелять тебя немедленно или отдать моим солдатам. Они соскучились по любовным забавам, жизнь здесь суровая. Но я этого пока не сделаю: мое предложение в силе. Не вздумай только пытаться обмануть меня: тогда умрешь мучительной смертью. Думай, команданте.

Он ушел. Ее кормили скудно, но давали много наркотиков. И она полюбила их. Время от времени полковник приносил ей газеты, в которых рассказывалось про подвиги «отряда Хиральды». Слышала она про них и по радио. Хиральда стала фетишем всей страны. Она стала флагом Революции. Ауру забыли. Но ей стало безразлично. Она все лежала в гамаке, жуя chimo. Она понимала, что деградирует. Но ее это не волновало: она существовала ради борьбы, ради отряда, а борьба, оказывается, неплохо шла и без нее — отряд одерживал одну победу за другой. Значит, она могла забыться, уйти в свои сны. А сны ее сделались невероятными, затягивающе длинными, колдовскими. Она слышала голос джунглей, это вековечное чав-

канье, пересыпанное криками птиц. В ней просыпалось индейское безвременье — ей снились аллигаторы и гигантские муравьи, и во сне она отрывала им головы и съедала их, как делали ее предки, и просыпалась с этим сытным мучнисто-масляным привкусом на губах...

Через три недели, наполненные тьмой, вонью, наркотиками и снами, она согласилась стать третьей женой полковника Суареса, одного из мелких командиров «контрас», окопавшихся в этих глухих местах, в окрестностях Богом забытого Лагона.

А еще через месяц она была беременна. Она жила теперь в просторной комнате почти без стен, где висели три гамака — ее и двух других жен полковника. Эти две женщины (обе индианки), хотя и обладали языками, все время молчали, но относились к ней хорошо. Полковник приходил иногда и спал с ней в их присутствии. Ей было все равно.

Однажды он вошел и сказал:

- Донья Долорес слегла. Говорят, умирает. Она откуда-то прослышала, что ты добралась до этих краев, чтобы повидать ее. Требуется привести тебя к ней. Ее слово — закон, ее здесь все почитают, эту старуху. Я и сам ее боюсь, так что оденься поприличнее, причешись и поехали.

Вскоре они въехали в Лагон в джипе полковника. Лагон оказался маленьким старинным городком, который, казалось, с трудом вмещал свой собственный собор — огромный и настолько пышный, что можно было подумать, что вся история фруктов, русалок, животных, морских раковин и монахов изложена на его стенах. В джипе полковник протянул ей очередную газету. На первой странице была фотография Хиральды: сонно и очаровательно улыбаясь, она пожимала руку высокого старика в белом кителе. «Breaking News, —

гласил заголовок. — Непримируемая оппозиция складывает оружие. Лидер ультралевого сопротивления Хиральда Веньо встретила с Президентом. В кругах, близких к власти, упорно циркулируют слухи, что предводительнице красной герильи предложили министерский портфель в будущем кабинете».

Аура внезапно словно проснулась. В ее жизни снова стал проступать смысл. От этой газеты пахнуло знакомым ей запахом — запахом предательства. Этого нельзя допустить. Они подъехали к воротам старого дома. Во дворике вертелось несколько белых собак с прозрачными глазами. Вскоре Аура вошла в комнату старого каменного дома, где на постели лежала очень старая женщина. Аура взглянула на это северное лицо: светло-серые глаза спокойно сияли на изборожденном морщинами лице.

— Здравствуй, Аурелиана, — произнесла старуха. — Знаю, что случилось с тобой. Знаю, кто сделал «яба», которое почти уничтожило тебя. Я помогу тебе.

«Кто это сделал?» — написала Аура на клочке бумаги, садясь на постель старухи. И приписала: «Я хочу найти и убить этого человека».

Она вдруг ощутила любовь к этой старой и, возможно, умирающей женщине. В древнем лице лежащей сохранялись следы былой красоты, некая загадочная легкость и прозрачность, нечто от зимнего моря вдали. От нее пахло Севером. Такого не увидишь на лицах старух Юга. Аура взяла легкую руку старухи с тонкими, почти детскими пальцами и, неожиданно для самой себя, страстно прильнула к этой руке губами. Из этой хрупкой руки источалась некая прохладная сила. Ей хотелось крикнуть: «Донья Долорес, не умирайте. Оставайтесь со мной. Мне нужна ваша помощь. Мне нужно... я хочу научиться у вас. Мой народ в опас-

ности. Чтобы помочь ему, недостаточно вооруженной борьбы. Я должна знать «яба». Как вы оказались в наших гиблых местах? Что вас забросило?»

Старуха улыбнулась и осторожно погладила Ауру по черным волосам.

— Ты беременна, дитя мое. У тебя родится девочка. Это хорошо — мальчики слишком любят войну. А ты не любишь войну, ты делала это ради любви. Назови ее в мою честь — Лолита. Так меня звали в юности. Я буду иногда заходить в ее душу — нежно, как в пушистых тапочках. Я буду изредка давать тебе советы ее устами. Ты сможешь видеть меня в ней. Но только пока ей не исполнится двенадцать. Потом я покину вас обоих — уйду в дальние края. Твои мысли спрашивают меня: что занесло меня в вашу страну. История моей жизни — той, что сейчас подходит к концу, — сложна и запутанна. Начало моей жизни один писатель-виртуоз описал в известном романе. Это прекрасно написанная книга, но события, изложенные там, далеки от истинных. Повествование ведется от лица моего отчима, который якобы совершил меня, двенадцатилетнюю. Якобы он был влюблен в меня, изводил своей ревностью, а потом я сбежала от него, и он с горя сошел с ума. После смерти моей матери я действительно некоторое время скиталась по Соединенным Штатам в компании своего отчима, но он никакого сексуального интереса ко мне не проявлял. А жаль, он мне даже нравился. Потом я влюбилась в одного известного кинорежиссера, жила с ним, снималась в его экспериментальных полупорнографических фильмах... Я любила его всем сердцем и не разлучилась бы с ним ни за что на свете, но его убили. В романе это убийство приписывается моему отчиму. Но он к этому делу не имел никакого отношения. Этому убийству предшествовала на-

ша поездка сюда, в Лагон. Здесь мы снимали один фильм. Дело в том, что мой возлюбленный в какой-то момент заинтересовался «яба». Лагон — очень старый и загадочный город, и в те времена он славился людьми, которые знали «яба». Об этом мы и сняли наш фильм. Фильм назывался «Дождь» — он был отчасти про сезон дождей, отчасти про колдовство, отчасти про индейцев, отчасти про духов джунглей и про сексуальные ритуалы, про магический секс и обрядовые оргии, которые люди якобы устраивают в здешних лесах, чтобы задобрить духов и понравиться богам. По сюжету фильма в этот мир должны были попасть английские мальчик и девочка, подростки лет пятнадцати, воспитанные в чопорном и пуританском духе. Родители их погибли, они же затерялись в джунглях. Ну, естественно, по ходу фильма эти дети совершенно раскрепощались и становились яростными адептами сексуальных культов. Я, конечно, играла главную роль - девочку-англичанку. Мне и четырнадцати тогда не было, но я из молодых да ранних. Эти оргии в потоках тропического дождя мы снимали, конечно, не здесь, а в Штатах - в различных оранжереях, в ботанических садах... Все сексуальные ритуалы выдумал сам Клэр Куилти — так звали моего возлюбленного. Он был большой выдумщик, отчасти гений, отчасти — как водится — сумасшедший. Никогда не забуду изящные и трогательные стихи, которые он мне посвятил:

Патрульщик, патрульщик, вон там под дождем  
 Где струится ночь, светофорясь,  
 Она в белых носках, она — сказка моя  
 И зовут ее Гейз Долорес.

Ищут, ищут Долорес Гейз  
 Кудри русы, губы румяны.  
 Возраст - четыре тысячи триста дней.  
 Род занятий: нимфетка экрана.

Да, я была тогда нимфеткой экрана, в те блаженные годы. Я была счастливым ребенком: я спала со своим возлюбленным-гением, я охотно растворялась в потоках его фантазий, мы жили весело, дико и беспечно — делали все что хотели, употребляли наркотики, смеялись, придумывали различные игры...

Собственно, с нас началась сексуальная революция в Соединенных Штатах. Затем подросла и психоделическая революция. Мы были пионерами этих двух революций, первыми птичками, внезапно вылетевшими на свободу.

Фильм «Дождь» задумывался как всего-навсего эстетский эротический фильм с абсолютно симулированным flavour of jungle. Но Куилти хотел, чтобы в этом влажном искусственном раю как бы случайно промелькнула некая правда о «яба». Эта правда должна была мелькнуть где-то на обочине сюжета, так, чтобы заметить ее смог только очень пристальный зритель. И здесь, в Лагоне, нам удалось снять достаточно уникальные кадры о том, как делают «яба». Тогда живы были еще несколько стариков и старух, которые могли... Так теперь не могут больше.

Потом мы вернулись в Штаты, Куилти приступил к монтажу... И тут его убили. В книге, о которой я упоминала, сказано, что к тому времени я уже не была с ним, что я якобы вышла замуж за «простого парня», забеременела и вскоре умерла родами. Все это ложь и ерунда. Никогда я не жила с «простыми парнями», никогда не была беременной. Умирать приходилось много — но совсем в другом смысле. Никто не знал, кто убил К.К. Одни подозревали СІА, другие — сектантов, третьи — родителей девочек, которые снимались в его фильмах... И только я — проницательный ребенок — поняла по некоторым признакам, что его смерть связана с нашей поездкой в Лагон, связана с «яба».

Я поставила перед собой задачу расследовать это убийство, найти виновных и отомстить. Для этого мне надо было узнать «яба», узнать по-настоящему. Так я встала на яба-путь, который в результате и привел меня сюда, в эту комнату, где ты целуешь мои старые руки. Я стала изучать магию, путешествовать по разным диким краям, где еще сохранялись древние знания. Постепенно мне многое стало понятно. Я стала «яба-хохо». К тому моменту я уже знала, кто убил К.К. Я могла пустить в ход самую страшную месть, но не сделала этого. Я зашла слишком далеко, мне уже было не до мести. Лагон стал моим домом. Этот город за-гипнотизировал меня. Я уезжала отсюда много раз: жила в Исландии, в Индии... Но всякий раз возвращалась в Лагон. Незаметно подкралась моя старость.

А теперь можешь убить меня, если хочешь. Это я сделала «яба», которое так истерзало тебя. Прости. Мне нужно было, чтобы ты нашла меня. И мне нужно было, чтобы ты пришла ко мне беременной. Ты мне давно понравилась: твой голос и то, как ты говорила по радио... Ты — отважная, ты — дух этой страны, поэтому я выбрала тебя — тебе я передам свое знание «яба». Я буду учить тебя устами твоей дочери, которую ты носишь под сердцем. Ты борешься за бедных, но кроме бедных и обманутых людей есть еще множество угнетенных — они невидимы, они — не люди, но они тоже заслуживают, чтобы за них боролись. Ты сможешь это. Сейчас я умру, и твое «яба» закончится — Хиральда исчезнет, язык твой вернется к тебе... Прощай. До встречи.

Аура почти не слушала того, о чем говорила старуха. Она в этот момент не думала ни о языке, ни о своем ребенке, ни о войне. Все это показалось ей неважным. С изумлением, с ужасом она понимала, что только теперь, на тридцать шестом

году жизни, она узнала, что такое любовь. Она все целовала руку старухи, с невыносимой нежностью и страстью, словно пытаясь задержать и согреть ее, но голос доньи Долорес уже не звучал, а рука становилась все прохладнее... Горячие слезы струились по щекам Аурелианы, а она все целовала остывающие старинно-детские пальцы, и что-то мешало ей целовать — она не сразу поняла, что это так странно заполнило ее рот, и только потом осознала — это язык. Язык вернулся. Она резко встала и подошла к зеркалу, которое висело в углу. Открыла рот и взглянула на язык. Тот был на своем месте, свежий и чистый, как у ребенка, и только на самом кончике языка посверкивали несколько золотых блесток.

*Закончено 5 февраля 2005*

## СТЕЛЯЩИЙСЯ (ПРЕДЧУВСТВИЕ 11 СЕНТЯБРЯ)

*Здравствуйте, дорогие, живущие в дальних краях/ Вам пишет ребенок из нашего города. Мне очень понравились ваши письма, которыми оклеен желтый коридор. Внутри меня есть сердце и другие внутренности, но потрогать их руками можно будет только если я умру. А я, может быть, никогда не умру. Сейчас не все умирают. А раньше было по-другому. Раньше все, кто жил, умирали. Но с тех пор, как объявился в наших краях Стелящийся, поменьше стало смертей. Зато дома и другие предметы стали, наоборот, совсем непрочные — часто разрушаются, падают внезапно, без причин. Вчера упал огромный небоскреб. Десятки тысяч человек, которые были в небоскребе и в окрестных домах, все остались живые и невредимые среди сплошных руин. Все очень удивлялись, но таково наше время. А вчера по главной улице пронеслось нечто стремительное, на уровне тротуаров. Все попадали: оказалось, у людей тонко срезаны подошвы ботинок, у некоторых повреждена кожа на ступнях. Зато если были среди них больные, все враз выздоровели. Это прошел Стелящийся. Я вас всех люблю, желаю вам крепкого здоровья и крепкого существования.*

*Кирилл Барское, ученик 6 класса «Э»*

Это письмо, написанное моей рукой, но странным почерком, я обнаружил в одной из своих тетрадей. Не припоминаю, когда и при каких обстоятельствах я это написал, а поскольку текст «письма» затерян среди записей моих снов, то,



Записано это было задолго до 11 сентября...

видимо, и само «письмо» следует считать сновидением — впрочем, неясно чьим. Записано это было задолго до 11 сентября 2001 года, и падение небоскреба в этом письме теперь кажется «пророческим видением». Как высказался по этому поводу другой сон:

Илия — пророк,  
Или я — пророк?

«Пророческие сновидения», в которых (как правило, искаженно и фрагментарно) отражается будущее, — не редкость. Впрочем, сновидения склонны предвосхищать не столько реальные события будущего, сколько их отражения в сфере медиа. В «письме» подчеркивается, что никто не погиб в упавшем небоскребе, — просто доброе сновидение не в силах предчувствовать реальное падение небоскреба, сопровождающееся гибелью множества людей, а «предвидит» лишь бесчисленное повторение этого события как серии визуальных эффектов, запечатленных видеозаписью и тиражируемых телевидением. В этом «письме» люди не только не погибли в результате катастрофических событий, но, наоборот, исцелились — их вылечил Стелящийся, который есть собственно Пленка, гибкая и стремительная поверхность записи (видеозаписи, аудиозаписи), что принимает всех на себя, избавляя вещи от их болезненных причин и от их материального содержания. Впрочем, Кирилл Барсков, ученик 6 класса «Э», знает об этом больше меня, так как он один из «никогда не существовавших», он — один из легких всполохов на горизонте несуществования. Возможно, Кирилл Барсков действительно пророчествует о том отдаленном, но счастливом будущем, когда живые существа обнаружат в глубине чистого и здорового небытия источники «крепкого здоровья и крепкого существования».

Чего только не услышишь в дороге!

*Фраза*

Все неслоь вокруг. Майор Потапов очнулся в кибитке, на лесном пути. Вокруг было все заснежено, белым-бело, и елки по обеим сторонам дороги стояли низкие, в толстых снежных одеяниях. Серебристая пороша пронесилась с тонким свистом, и небо тоже стояло над дорогой белое, ровное, светлое.

Кибитка, в которой сидел Потапов, оказалась странна: вроде бы это были крытые сани, и неслись они быстро, по накатанному и совершенно прямому санному пути. Не слышалось тархтенья мотора, не видно было руля, но ни конской, ни собачьей, ни какой другой упряжи не виднелось. Спереди кибитка обрывалась широким и чистым лобовым стеклом, в котором ясно открывался прямой, уходящий в перспективу путь. Кибитка была двухместная, и рядом с майором кто-то сидел.

«Еду с попутчиком», — сообразил Потапов.

Он хотел повернуть голову и взглянуть на попутчика, но не сделал этого — сидел неподвижно. Сидеть в санях, запахнувшись медвежьей полостью, казалось так удобно, что не хотелось совершать никаких движений. Потапов не мог припомнить, чтобы ему когда-нибудь так удобно сиделось и ехалось. Он с удовольствием смотрел на пронесящиеся елки, на прямую, снежную, слегка блестящую дорогу, словно из слюды, на снег, несомый по ветру, разбивающийся струйками о ветровое стекло кибитки. Все это как будто вылетело из

русских ямщицких песен про дальнюю дорогу, но при этом все это было совершенно нерусское, совершенно другое. Всякий человек, родившийся в России, никогда не перепутает, в каком бы беспмятстве не находился, где он — на Родине или за ее пределами. Здесь сердце подсказывало: «за пределами», причем за далекими пределами. Из-за усовершенствованной механической кибитки, из-за абсолютной прямизны пути — из-за всего этого Потапов решил, что он в Америке.

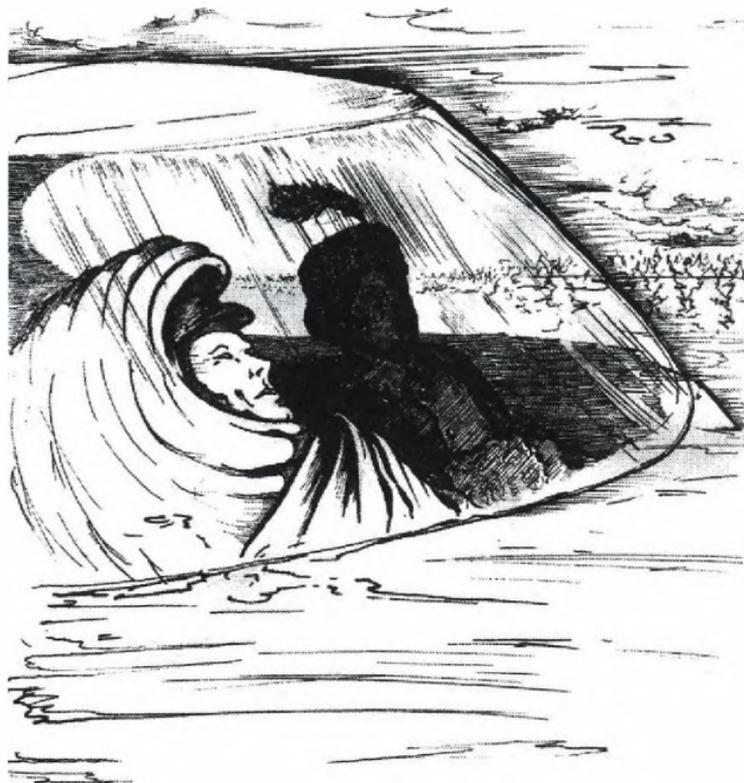
«Наверное, Аляска, — подумалось ему. — На золотые прииски едем». Он улыбнулся. Он читал в детстве Джека Лондона, текст забылся, а радость осталась. Скосил набок глаза и разглядел профиль попутчика, которого сразу определил как золотоискателя.

Золотоискатель выглядел так, как ему и положено: в собачьей большой шапке с опущенными ушами, в белой шубе, с загорелым и грубым лицом. На фоне бокового окошка четко проступал его профиль с горбатым носом, с бородой и черным глазом под соболей, с проседью, бровью.

«Наверное, по-русски он не понимает, — размышлял майор. — А впрочем, лицо вроде русское. Похож на казака».

— А неплохо едем. Дорога хорошая. Не то что у нас, — начал майор разговор спокойно, весело, не поворачивая головы.

Попутчик ответил молчанием. Но Потапов как-то даже не заметил этого молчания. Не возникло никакой натянутости, никакого напряжения — все оставалось простым, вытянутым вперед, собирающимся впереди в одну точку — как этот путь. Майор загляделся на дорогу, на пространство, которое стремительно и белоснежно надвигалось на кибитку, и разбивалось снежными ручейками о ветровое стекло, и вбирало в себя повозку бесшумно и быстро.



Здесь царствует свежесть, которая не любит слов...

«Какой русский не любит быстрой езды», — вспомнилась майору крылатая фраза Гоголя. — «Впрочем, почему только русский? Вот американцы тоже любят быструю езду. Даже придумали такие снегоходы, как этот. Отличная штука. Да и дорожку специальную проложили — прямая, как линейка. Молодцы!»

Он собирался посмотреть на золотоискателя, не изменилось ли у того выражение лица, но было лень. Странно, совсем не хотелось шевелиться — ни ерзать, ни менять положение рук и ног. Тело не затекало, не возникало никакой усталости от пребывания в неподвижности.

«Надо же, какой удобный транспорт сконструировали!» — снова подумал Потапов с уважением об американцах. Его не удивляло, что он вдруг оказался в Америке. Он долго находился без сознания, кажется, тяжело болел, и, возможно, его переправили сюда на лечение. К союзникам. Он знал, что так теперь делают. И действительно, что-то целительное, больнично-чистое и глубоко оздоровляющее присутствовало во всем этом: в снеге, скорости, в линейной прямизне дороги, в тишине... Майор чувствовал, что это лечение действует. Он выздоравливал.

Потапову определенно нравилось в Америке. Здесь как-то особенно свободно и легко дышалось. Ощущался простор, внешне похожий на русский, но в то же время совершенно другой.

— Я все разужнаю про этот простор, про эту свежесть, — шептал майор в задумчивости.

Прошло вроде несколько часов. Ничего не изменилось — все так же летела кибитка, все так же бился снежный прах об ее окна. Все так же важные ели стояли стеной по обе стороны дороги. Молчал попутчик. Но ничего не тяготило — ни однообразие, ни скука, ни неподвижность. В Рос-

сии, где так быстро сменяются эмоции и настроения, уже давно защемило бы сердце, потянуло бы на смутные думы, на ямщицкую песню — то ль раздолье удалое, то ли смертная тоска... Замерещились бы бесы в снегу, захотелось бы алкоголя, или курить, или разговоров. Но здесь ничего такого не ощущалось. Одна лишь простая и ничем не наполненная свобода.

«Страна свободы, — подумал майор. — Недаром брешут капиталисты», — он усмехнулся.

Кажется, последнюю фразу он произнес вслух. В ответ раздался какой-то шорох со стороны попутчика. Потапов скосил глаза и, к своему удивлению, увидел, что вместо золотоискателя рядом с ним сидит незнакомая женщина. Она казалась заплаканной. Красноватые припухшие глаза и приоткрытые влажные губы придавали ее бледному и полному лицу выражение растерянности, но растерянность была спокойной, даже оцепеневшей. Такие женские лица, красивые, нежные, но как бы чуть-чуть слабоумные или похожие на даунов, любил изображать Вермеер. Потапов Вермеера не знал, но нечто от старинных картин уловил. На даме была шубка с поднятым воротником, руки упрятаны в муфту, на меховой шапке блестела стразовая кокарда и покачивалось страусиное перо, немного заснеженное. В боковое окошко слегка задувало снежной пылью.

— Вы откуда здесь? — спросил Потапов, не поворачивая головы (он разглядывал даму, что называется, «краем глаза»).

Дама не ответила, она продолжала смотреть прямо перед собой блестящими, заплаканными глазами. Опять не возникло никакого напряжения, никакой неловкости — как будто так и должно быть.

«Видимо, я задремал, промышленник вышел... А она подседа. По-русски не понимает, конеч-

но», — подумал Потапов. Ему было, впрочем, все равно. Он знал, что люди в этих суровых краях немногословны. Здесь царствует свежесть, которая не любит слов.

Подумав, что он только что спал, Потапов и в самом деле уснул. Ему снился какой-то очень интересный и наполненный событиями сон, но темноты не было — светился снег за окнами, и небо излучало сдержанный ночной свет. А кибитка неслась. Он скосил глаза на даму, но ее не удавалось разглядеть в этом освещении — только покачивалось на фоне окошка страусиное перо и тускло блестела стразовая кокарда.

Он снова уснул. Ему снился Нью-Йорк, город, состоящий из небоскребов. Солнце сияло тысячею искр в стеклах этих огромных домов. За небоскребами синело море. Вдруг Потапов увидел, что на море поднимается колоссальная Волна, выше самых высоких зданий, и начинает надвигаться на город, снося его с лица земли. Майор в этом сневидении входил в группу каких-то существ, чуть ли не ангелов, которые в этой катастрофической ситуации играли роль «спасателей». Эти «спасатели» обладали некоторой ограниченной властью над временем, они (силой своей воли) «тормозили» земное время — вместе с ним останавливалась и Волна. Пользуясь этими торможениями, этими паузами, они быстро сновали по городу (скорости они развивали немыслимые), пронеслись по зданиям, которые в следующие мгновения должна была снести Волна, по улицам, и «выдергивали» — из толпы, из комнат, из автомобилей, из вагонов подземки — тех людей, которых по каким-то причинам надлежало спасти. Как они их опознавали — неясно, но никто из «ангелов» не задумывался ни на секунду. Потапов носился, не касаясь земли, среди застывших людей (которые все были похожи на статуи, изображающие панику и смяте-

ние). Здесь были застывшие в беге, застывшие в прыжке. На головы тех, кого надо было спасти, «ангелы» молниеносно надевали некие диски, кажется, перламутровые. Диски крепились над ухом и держались с помощью зажимов из мягкого металла. Они напоминали чем-то увеличенные запонки, вроде тех, которые носил на рукавах рубашки отец Потапова. Затем время освобождалось, и Волна делала новый шаг по городу, сокрушая все. Люди с перламутровыми дисками в этот момент взмывали в небо и повисали высоко вверху над зрелищем разрушения. Их что-то выдергивало. И снова «ангелы» тормозили Волну и сновали среди застывших людей. Потапову запомнилось, как он надевал диск на голову девушки, которая только что в панике выбросилась из окна — она неподвижно висела в облаке стеклянных осколков от разбившегося окна на огромной высоте, над далекой улицей Нью-Йорка... Было очень красиво, и колоссальная Волна стояла, застыв, сразу за ближайшими небоскребами — эта морщинистая водяная стена была словно из драгоценного камня, полупросвеченного солнцем, она напоминала сине-зеленый янтарь, в котором, вместо мушек и стрекоз, застыли обломки зданий и пестрые микроскопические автомобили...

Майор проснулся. Ночь прошла, всюду разливался ровный белый свет. Стремительный, ровный бег кибитки и снежная пороша на стеклах. Потапов скосил глаза на попутчицу, но рядом с ним сидела уже другая женщина, точнее молодая девушка, одетая в военную форму. Нашивки с ши-нели и с кителя спороты, а по покрою Потапов не мог определить, к какой армии принадлежала девушка. Возможно, американская форма, а может быть, и английская (канадские части). На виске у девушки был заметен ожог.

— Домой возвращаетесь, с фронта? — добродушно осведомился майор. — На войне, небось, несладко показалось? Особенно вам, молодой женщине. Ну да мы вашего Второго фронта знаете как долго ждали... Теперь вместе быстрее одолеем фашиста.

Девушка не произнесла ни слова. И скоро наступила ночь. Потапов на этот раз спал крепко, без сновидений. А утром обнаружил, что девушка с ожогом на виске исчезла, а рядом с ним в кибитке сидит капитан Колосов, которого Потапов хорошо знал по Варшаве. Профиль капитана четко вырисовывался на фоне белого бокового окошка.

«Снова я проспал ночную остановку, — подумал майор равнодушно. — Там она вышла, а капитан подсел. Видно, тоже на лечение. Ну, хорошо, хотя бы наш человек. Будет с кем поговорить в санатории. В шахматы поиграем. Выпьем как-нибудь, если врачи разрешат. Или по секрету. А там, на этих остановках, есть, наверное, и столовые. А может быть, просто захолустная станция среди снегов».

— Что, капитан, есть там, на станции, ресторанчик? — спросил Потапов. — Чтобы, как поется в песне, чеколдыкнуть стаканчик. А?

Колосов не ответил. Да Потапов особо и не ждал ответа, он увлеченно смотрел на дорогу, на снежный путь.

Вдруг со стороны капитана донесся какой-то звук. Затем еще раз. Потапов скосил на него глаза. По телу капитана Колоса пробежали легкие судороги, мышцы на его лице напряглись. Он с усилием открыл рот, с таким усилием, словно в щеках у него скрывались ржавые шарниры. В горле у него что-то скрипнуло, и он выдавил из себя:

— Ко...

— Чего? — удивился майор.

— Ко-гда... — с трудном произнес Колосов.



И снова «ангелы» тормозили Волну и сновали  
среди застывших людей.

— Когда что? — не понял Потапов.

— КОГДА МНЕ СМЕНА ДНЯ И НОЧИ НАДОЕСТ, — вдруг твердо произнес капитан.

Майор Потапов вернулся в сознание в варшавском военном госпитале. За окнами палаты стоял апрель 1945 года. Ему сказали, что он был ранен и несколько дней не приходил в себя. Вскоре он пошел на поправку. На фронт уже не попал — война закончилась. Он демобилизовался, вернулся в родную Москву, устроился на работу.

Дела и в личной жизни, и по работе сложились как-то хорошо, светло. Женился, вскоре родился сын. Через несколько лет родилась дочь. Потаповы жили дружно, дети росли здоровыми, веселыми. Пробежали годы, а там и десятилетия. Как-то раз Потапова хотели послать по работе в Америку, в командировку. Это были брежневские годы, и такие командировки считались очень престижными. Но Потапов неожиданно категорически от поездки отказался.

— Чего так? — спросили его. — Разве не хочется тебе Америку повидать? Там, говорят, интересно.

— Там-то интересно. Только я туда не тороплюсь. И никому туда торопиться не советую. Потому как — все там будем! — ответил Потапов задумчиво.

Ночью, в пустынной и дикой местности, где проходила государственная граница, незаметно и тихо скользили во мраке три человеческие фигуры. Если бы кто смог увидеть их, то они напомнили бы о фильмах в духе Джеймса Бонда: в специальных облегающих черных костюмах, снабженные множеством мелких технических приборов и миниатюрных инструментов, созданных для разведок, лазутчиков и тайных агентов. Это и были три агента: двоим из них поручили незаметно сопроводить третьего к границе: им сказали, он должен тайно перейти ее, уйти «на другую сторону». Эти двое были брат и сестра, близнецы, молодые, спортивные, немногословные, очень хорошо подготовленные агенты, профессионалы высокого класса. Они привыкли к более сложным заданиям, чем это. Осуществить нелегальный уход одного из коллег за границу — это была рутинная работа. Они хорошо подготовили операцию: выбрали место, время... Эти края они знали, до ближайшей погранзащиты не близко, ночи в это время года часто случаются непроницаемо-темные: такие, как эта.

Они, как три черных муравья, пробежали по острому гребню приграничной горы (ее называли Топор), затем стали ловко и бесшумно спускаться на тросах, закрепляя их с помощью гарпунных пистолетов. Очки, снабженные приборами ночного видения, позволяли им различать каждую трещинку в камне... Вскоре они уже стояли на той невидимой черте, которая называлась государствен-

ной границей. На другой стороне тянулись такие же безлюдные дикие земли, поросшие мелким кустарником.

Настало время прощаться с тем, кого они сопровождали до этой черты. Дальше ему предстояло идти одному. Близнецы были агентами высокого класса, но тот, с кем они собирались теперь проститься, являлся единственным в своем роде агентом, гением своего дела. Такого человека заменить, как правило, невозможно, он чаще всего работает в одиночку. Он сам выстраивает свой тайный путь сквозь мир. Уходя, он уносит этот путь с собой, аккуратно свернув его в компактный рулон. На вид это был ничем не примечательный человек лет сорока, худой, седеющий, с внешне безразличным и как бы отрешенным лицом.

— Ну что ж, пора прощаться... — сказал он обыденно, но в его темных глазах мелькнуло нечто многозначительное. Он обменялся рукопожатием с братом-близнецом, затем обнял его сестру и поцеловал ее в губы.

— Этот поцелуй был сладок, — произнес он с загадочной улыбкой. — Но надо совершить еще один.

Он быстро встал на колени и поцеловал сухую землю. Затем взглянул на близнецов. Они молча смотрели на него сквозь специальные очки.

— Вы думаете, я поцеловал родную землю перед уходом? — спросил он.

Они кивнули.

— Нет, я поцеловал не родную землю. Я поцеловал границу. Любите и берегите границы, потому что им угрожает опасность. Скоро они исчезнут. Страны сольются. Когда это произойдет, мы поймем, что потеряли нечто очень важное — почти столь же важное, как наша душа. Но будет поздно. Границы — это величайшая ценность нашего мира. И это сокровище может скоро исчезнуть.



Лицо его стало еще темнее в ночной синеве, затем он напряженно и одновременно легко развел в стороны земляные пласты.

Близнецы смотрели на Сверхагента глазами, похожими на подсвеченную воду ночного бассейна. Такие бассейны всегда бывают в дорогих отелях, и в них иногда плавает мертвое тело. Сверхагент нежно погладил ладонью невидимую черту на земле.

— Пришло время вам узнать тайну, — сказал он. — Вам известно, что здесь мне оставаться нельзя. Никак нельзя. Надо уходить. Вам поручили проводить меня к границе, сказали, что я должен уйти «на другую сторону». Но тайна состоит в том, что туда мне тоже нельзя, — он кивнул на темный ландшафт «на другой стороне».

— Что же делать человеку, которому нельзя оставаться в стране, но которому нельзя и уйти за границу? Ответ: уйти в границу.

Близнецы слушали молча. Их лица оставались бесстрастными.

— Вы слышали про филиппинских врачей, которые руками раздвигают живые ткани человеческого тела и без помощи хирургических инструментов проникают внутрь? Бывает, что иногда так надо делать с землей. Смотрите.

Сверхагент двумя руками уперся в землю по разные стороны от невидимой черты. Лицо его стало еще темнее в ночной синеве, затем он напряженно и одновременно легко развел в стороны земляные пласты. Открылась узкая щель, уходящая в глубину земли. Внутри были гладкие отвесные стены и, прямо от того места, где стоял на коленях Сверхагент, уходили в глубину небольшие металлические скобы. Сверхагент махнул близнецам на прощанье рукой и скользнул в щель.

Он быстро опускался по скобам, почти сжатый двумя гладкими стенами, необозримо разворачивающимися вниз и в стороны. Узкая полоска ночного неба с далекими звездами уходила вверх, становилась все тоньше. Он спускался быстро, не да-

вая себе отдыха. Несмотря на прибор ночного видения, вокруг постепенно сгущалась полная тьма. Он снял специальные очки и шлем и оставил все это на одной из скоб. Затем продолжал спуск в темноте.

Постепенно, очень медленно, мягкий, рассеянный и нежный свет стал пробиваться снизу, словно подсвечивая темноту, как подсвечивают снизу театральные занавесы. Стена за его спиной стала отступать, удаляться: щель расширялась. Пространство становилось постепенно огромным, словно он спускался в подземный космос. Вместе со светом снизу стал все ярственнее доноситься аромат — благоухание поднималось волнами, сначала робкое и почти неощутимое, оно сгущалось, шло потоками, становилось густым, пьянящим. Это было благоухание цветов — тысяч, миллионов, миллиардов свежих бутонов, и этот аромат уже не скрывал своего могущества, он всласть кружил голову, и спуск по скобам под влиянием этого всемогущего благоухания превращался в подобие полета...

Сверхагент взглянул вниз и увидел, куда он спускается — море свежих, словно только что распутившихся цветов расстилалось внизу в переливающемся свете: цветы всех видов и форм словно бы пели и кричали своим ароматом... Благоуханный океан поджидал его.

Речь пойдет о фильме Джереми Гастингса «Россия», снятом в 2088 году. Фильм вызвал противоречивую реакцию публики, с коммерческой точки зрения себя не оправдал, и, тем не менее, со временем признан был шедевром — из разряда шедевров «мрачных и прекрасных». Как отметил журнал «The New Yorker», для всех фильмов Гастингса — а снял он их всего-навсего пять — характерно некое «тусклое великолепие», а в фильме «Россия» это «тусклое великолепие» достигло своего апогея. К тому же в фильме снялся в одной из главных ролей Дэйвид Смутный, один из лучших американских актеров XXI века; благодаря этому обстоятельству фильм, хотя и не принес мощных кассовых сборов, все же не стал и финансовым провалом студии The Holy Forest, которая являлась во многом наследницей великолепного некогда Hollywood'a. В нашей же стране, которая и до сих пор носит то же самое имя, что и этот фильм Гастингса, этот фильм не мог не вызвать восторга — он пропитан любовью к России, причем любовью платонической и несколько сумасшедшей. Сам Гастингс к моменту выхода фильма в прокат в России не бывал, тем не менее был очевидным русофилом (если не сказать русоманом). На вопросы журналистов, почему он никогда не посещает обожаемую страну, Гастингс ответил, что если приедет в Россию, то останется в ней навсегда, поэтому собирается совершить это в ста-

рости и планирует умереть и быть погребенным в каком-нибудь из русских захолустных городов.

«В лице России я люблю свою смерть, — сказал Гастингс в своем интервью. — Нежное предвкушение смерти освещает собой мои зрелые годы, подобно тому, как нежное предчувствие любви освещало собой мою юность». Это высказывание напрямую связано с содержанием обсуждаемого фильма, поскольку это фильм о любви и смерти.

Идея фильма проста: Россия, как некая живая сущность, как самостоятельное существо, не заключается в людях, населяющих эту колоссальную местность, совсем не в человеческих недрах скрывается «русская душа»; это душа или этот дух существуют сами по себе, они, конечно же, привольно разлиты в русских просторах, но способны собираться или концентрироваться и в некие вполне физические тела, причем отнюдь не человеческие по своей природе. Эти тела никогда не являются на глаза уроженцам и жителям России, они прочно скрыты от их взоров, и единственные, кому Россия являет себя, — это ее враги, причем те враги, которые с войной вторглись в русские заповедные пространства. Россия являет себя изредка этим врагам, и сколь ни нежны эти явления, эти прикосновения, они парализуют врагов как некий холодный яд, исподволь и словно ненароком проникающий в их души, чтобы вызвать глубинное оцепенение, гипноз, длящийся не только до конца дней злополучного вторжения, но охватывающий собою и изрядный сегмент его посмертного бытия.

Россия — это русалка, недаром у этих двух слов общий корень.

Итак, фильм Джереми Гастингса строится как серия рассказов различных иноземных воинов, в разные эпохи оказавшихся на территории России

вместе со своими армиями, и каждый рассказывает о некоем мистическом эпизоде, о некоем переживании, которое настигло его в походе и изменило навсегда.

Формально фильм Гастингса строится как серия интервью с этими иноземными захватчиками, эти интервью сняты в общепринятом духе документальных фильмов, где о некоем событии или явлении повествует ряд свидетелей и участников. Люди сидят перед камерой и нечто произносят, но из-за того, что по большей части люди эти принадлежат глубокому прошлому, фильм наделяется привкусом спиритизма: не все, но большинство интервьюируемых давно уже прибывают в стране мертвых, и создается впечатление, что некий ушлый репортер (по кличке Ушлый Красавец) проник в эту туманную страну вместе со съемочной группой, чтобы записать признания тех, кто уже давно наслаждается прохладой небытия.

Но не все исповедующиеся мертвы. По ходу повествования того или иного рассказчика внезапно прерывается «экранизациями» событий.

В начале разворачивается история некоего половецкого хана — его и сыграл Дэвид Смутный, и это, без сомнений, одна из лучших его ролей. Глубокий, мрачный и в то же время сдержанный психологизм, который Смутный сделал своим фирменным знаком, смог вполне проявиться в этой роли, где актер сидит перед камерой, произнося свой монолог. Все, кто видел фильм, помнят тот эффект страшной усталости, пронизывающий лицо хана, причем это не душевная усталость, которая бывает у живых — ведь как бы ни был истерзан живой, в нем все еще живет жизнь, — усталость хана, как ее сыграл Смутный, это усталость мертвого, чья смерть утомительна и рутинна, как унижительная работа, длящаяся столетиями. Хан рассказывает, в общем-то, банальную историю о де-

вухе, о пленнице, захваченной им во время одного из набегов в русском городке. Восхищенный ее красотой, хан сделал ее своей наложницей, он окружил ее роскошью, дарил ей украшения, научил скакать на коне, другие русские девушки-пленницы прислуживали ей, развлекали сказками и песнями. Но она оставалась печальной и после соития всегда плакала.

Как-то раз хан спросил ее, почему она плачет.

— Так велит мне черная курочка, — ответила пленница.

Оказалось, единственная вещь, которая у нее была при себе, вещь, которую она хранила с детства и с которой никогда не расставалась, была глиняная фигурка курочки. Она всегда носила ее на теле, зашитую в маленький шелковый мешок, и никому не показывала. Хан пожелал видеть курочку.

— Ее нельзя видеть никому, кроме меня, — сказала девушка. Но упрямый хан потребовал показать ему игрушку.

Когда он взглянул на курочку, что-то в нем надломилось. Его больше не радовали удачные набеги, лихие схватки, быстрые кони, сабли, ласки его жен... Вскоре он умер...

Ничего особенного нет в этой сказке. Но огромное лицо актера с азиатской бородкой и то, что, рассказывая, он постоянно шарит одной рукой по своему узорчатому халату... это странно и мучительно запоминалось.

Затем на экране возникал американский старик в красной байковой рубаше, живущий на уединенной ферме в Цинцинатти. Он долго, многословно и несколько маразматично повествует о том, как был рейнджером высокого класса, как их с группой ребят высадили десантом под Вяткой в

2038 году. Стояла зима. Там к нему привязалась некая снежинка — все она ложилась к нему на плечо и не таяла. Исчезала и снова появлялась, и рейнджер понимал — это она, та самая... Они выполнили задание — захватили секретный военный аэродром, парень вернулся к себе во Флориду, откуда был родом, но снежинка и там, даже в самые жаркие, раскаленные дни, все опускалась, танцуя, ему на плечо.

Ни психоаналитик, ни клиника психозов ему не помогли. Снежинка исчезла только после того, как он принял русское православие в 2058 году, двадцать лет спустя десанта под Вяткой.

Затем со своими рассказами появляются немецкий ефрейтор, не переживший зиму 1943 года, наполеоновский генерал, шведский мушкетер, воевавший под Нарвой, некий крестоносец Ливонского ордена, провалившийся сквозь лед Чудского озера, поляк Смутного времени, из тех, что служили Самозванцу, танкист Гудериана, еще один очень молодой немецкий офицер времен Первой мировой, японец, бывший на Дальнем Востоке в Гражданскую, кавказский террорист, посланный в Москву в начале 21 века, румынский полицейский, охранявший здание штаба в Одессе, и другие...

Джереми Гастингс осуществил свой план. В старости он перебрался в Россию, поселился в одном заштатном городе, где и умер. Говорят, он сильно пил, и это тоже было частью его программы — до этого он всю жизнь не прикасался к спиртному.

Один раз до него добрался один Ушлый Красавец — репортер «The Chronicle». Он застал Гастингса на огороде: в белой майке и камуфляжных штанах старик копался в грядках. Они отошли покурить. Гастингс был явно с похмелья.



Но не все исповедующиеся мертвы.

— Are you happy here in Russia? — спросил Ушлый Красавец.

— Я не за счастьем сюда приехал, — Гастингс обнажил в улыбке медные зубы, вынимая из кармана камуфляжных штанов пачку сигарет «Прима».

После его смерти (его нашли в коридоре дома, где он купил квартиру; от трупа сильно пахло водкой) Ушлый Красавец снова приехал в тот город снимать фильм о последних годах жизни Джереми Гастингса, одного из последних великих кинорежиссеров Америки (Гастингс был частью той плеяды людей, связанной со студией The Holy Forest, с уходом которой окончательно ушло в прошлое само кино). Он встречался с людьми, знавшими Гастингса, брал у них интервью. Фильм, естественно, назывался «По следам "России"».

Соседи, собутыльники Гастингса говорили все одно: был душа-человек, любил Россию, пил как зверь... Говорили о его гениальности, о его причудах, о странном финале, который он избрал...

Попался один старичок, говорят, он хаживал к Гастингсу беседовать. Старичок в городе считался тайноведческим.

Чинно сидя в саду под яблоней, старичок сказал Ушлому Красавцу по-русски: «Вот что я вам скажу, дорогой мой дружок. Покойный Иеремия всю жизнь не любил Россию. Отца его убили русские на войне 2038 года. Отец его был ирландским сумасшедшим из Ольстера, кадровым военным, снайпером. Мать же его была индианка из Мексики, из старого рода колдунов. Джереми сам был тяжелый психопат, и часто мерещилось ему в бреду, что он могучий шаман. Джереми хотел подточить своим фильмом ту магическую защиту, которая издревле охраняла нашу страну от врагов. Но он опоздал: к тому времени, когда вышел его фильм, защита эта уже была снята. Сильные и

слабые духи покинули нас, и мы обрели новую святость - святость беззащитности - в глубинах нашего забытого миром позора. Больше нас ничего не защищает, кроме Господа Бога. Да нам другой защиты и не надо. Господь всех нас, кто еще остался в мирах воплощения, защитит и успокоит».

И старичок угостил Ушлого наливным яблочком.

*2004*

Ветеран войны Вениамин Андреич Соболев проснулся в своей комнате весенним утром 1993 года. Он жил в коммунальной квартире на первом этаже, занимал одну небольшую комнату, узкую и длинную, выходящую окном в старый московский двор. Двор этот прятался в переулке, за темной аркой, сразу за кинотеатром, где показывали исключительно только индийские фильмы, в непосредственной близости от Курского вокзала. Неподалеку шумело и грохотало Садовое кольцо, бурлила грязная привокзальная площадь, поезда уносились на юг или в веселое Подмосковье, а во дворике было почти тихо, но в то же время по-весеннему светло: пьяный солнечный свет согревал пыльный асфальт, по нему скакали и орали птицы, изредка пробегали то ребенок, то кошка, зеленая трава пробивалась под окнами... Старик Андреич высунул лицо в форточку, сквозь засранную птицами решетку вдохнул возбужденный московский воздух. За окном, в огромном городе кончалась, мимоходом, одна недолгая, но безумная эпоха, и начиналась другая, тоже безумная и недолгая. Нельзя сказать, что старика-ветерана эта смена эпох никак не затрагивала — он был, несмотря на старость, отчасти вовлечен, отчасти взбудоражен. Но сейчас он собирался завтракать.

Он вскипятил чай, сварил яйцо вкрутую... и вот сидел у окна, на кровати, накрытой ковриком с оленями. Стол ему заменяла табуретка — в солнечном луче светлый пар поднимался от железной

кружки с темным чаем (Соболев любил очень крепкий чай), от горячего крутого яйца на белом блюде. В форточку веяло весной. Вдруг в окно ему кто-то заглянул, заслонив солнечный свет.

Старик поднял глаза и увидел за пыльным стеклом незнакомое лицо, расплывшееся в широкой улыбке. Эта улыбка выглядела так странно и необычно, что старик вздрогнул. Зубы незнакомца были аккуратно выкрашены в разные цвета, настолько яркие и чистые, что улыбка напоминала открытую коробку с акварельными красками. Эта яркая многоцветная улыбка сияла на непонятном мужском лице среднего возраста.

— Сумасшедший, — понял старик.

Здесь, в районе вокзала, много шаталось всякого отребья: бомжи, алкоголики, проститутки последнего разбора, цыгане... Естественно, было много и ебанурых. Так что старику-было не привывать.

— Батяня... — произнес улыбающийся. — Как сам-то?

Ветеран хотел было строго задернуть занавеску, понимая, что времена такие, что разговор может обернуться как угодно — человек с разноцветными зубами вполне мог вытянуть из кармана пистолет и разрешить все проблемы пенсионера прямо через окно. Но незнакомец вынул вместо пистолета пачку американских сигарет и добродушно протянул в форточку:

— Закуривай, отец.

Курева у Андреича не имелось, желание пустить дым внезапно оказалось сильнее инстинкта самосохранения — старик ловко выудил две сигареты.

— Ты... воевал? — спросил улыбчивый.

— Воевал за вас, за дураков, — ответил ветеран строго. — А ты чего это зубы выкрасил? До бленькой допился?

— В районе того, — еще шире улыбнулся незнакомец. Затем какая-то тень пробежала по его лицу, и он добавил:

— Если выкрасил, значит не от хорошей жизни.

— Ясное дело, — согласился старик. — Ясный хуй: от хорошей жизни зубы не красят. — Он закурил.

— Выпить хочешь, ветеран? — спросил человек с разноцветными зубами, вынимая из-за пазухи наполовину уже опустошенную бутылку виски,

— Ишь ты, импортное пьете... — холодно отметил Андреич. — Зубы зубами, а к качеству тянет.

Незнакомец отпил большой глоток, причмокнул, мечтательно закурил свою американскую сигарету, присев на корточки. Несмотря на презрительный тон, Андреичу тоже хотелось выпить, и он протянул в форточку свою худую жадную старческую руку.

— Ты чего, дед, в колонии строгого режима? — усмехнулся человек за окном. — Сквозь решку пить — гадом быть. Ты уж пригласи меня в гости, как человек. Выпьем. Расскажу тебе про разноцветные зубы.

Андреич прикинул, что квартира в этот час полным-полна людей, особого стрема нет, и решил пустить гостя.

И вот они сидели друг напротив друга в его комнате, покуривая. Хозяин выставил на табуретку граненые стаканы и получерствый белый хлеб с остатками масла, в качестве закуски. Разлили янтарное спиртное, и оно радостно вспыхнуло в гранях отраженным солнышком.

— Значит, воевал? — снова спросил незнакомец.

— Воевал, воевал, — равнодушно откликнулся пенсионер.

— Ну, тогда — за Победу! — предложил гость.

Они чокнулись, выпили. Алкоголь согрел изнутри тело старика, ему стало благостно.

«Ишь ты, удад пестрозубый», — думал он, глядя на гостя сквозь дымок от сигареты. — «А одет ничего, прилично. Деньги есть, ума не надо».

— Так чего зубы выкрасил? — спросил он.

— Ты воевал. Я тоже воевал, — ответил тот.

Он оттянул вниз ворот полурасстегнутой синей рубахи, блеснула тонкая золотая цепочка на шее, а пониже цепочки обнажилась татуировка — КАНДАГАР 83.

— Вот оно как. Интернационалист, — сказал старик, и приготовился выслушать какую-нибудь страшную или сентиментальную (а скорее всего, и то и другое одновременно) военную историю. Рассказ не заставил себя ждать. Интернационалист рассказывал сначала довольно невнятно, много матерился, то переходя на полублатной жаргон, то на язык почти интеллигентный (видно, до Афганистана он учился в вузе). Чтобы не растягивать повествование, перескажем его рассказ коротко.

В 1983 году (год, обозначенный на татуировке) он служил в войсковой разведке. После Кандагара их часть оказалась в каких-то диких местах, почти в пустыне. В тех местах обитало какое-то племя, чем-то отличное от других афганцев, населяющих те края (кажется, племя отличалось языком, обычаями, возможно, люди этого племени даже не исповедовали ислам, или же это была какая-то особая разновидность ислама, сохранившая в себе связь с древними языческими культурами).

В тех местах находилось большое количество боевых групп моджахедов (гость называл их, естественно, «духами»), которые постоянно атаковали советские войска. Командованию частей, которые с трудом продвигались вглубь этой территории, не было точно известно, какие у «духов» отношения с членами упомянутого племени. Бродила молва, что «духи» обошлись с местными жестоко, якобы

даже вырезали несколько селений. На это возлагались некоторые надежды.

Было решено найти человека из племени, который бы хорошо знал стоянки моджахедских банд, склады оружия, горные тропы, убежища... Такого человека нашли — он работал на «духов» в качестве проводника, потом, говорят, сбежал от них... Стало известно, что он скрывается в одном селении. Его выследили, схватили, доставили в штаб. Это был темнокожий, сухонький человечек, ростом с 12-летнего ребенка, очень улыбочивый и на вид робкий. Улыбочивость в этих краях встречалась не часто — это обращало на себя внимание. Ему дали карту местности, объяснили через переводчика, что он должен отметить на ней тропы «духов», их стоянки, убежища, места входов в горные пещеры, где они скрывались... В случае отказа его обещали убить, за помощь посулили еды, денег. Человечек закивал, заулыбался. Его темные ручонки казались совсем детскими. Он что-то залопотал на своем наречии.

Переводчик сказал, что пленник просит дать ему краски и зеркало, и оставить его на время наедине с картой. Туземец объяснил, что сам ничего не помнит — памятью обладает только его отражение. Для того чтобы вспомнить то, о чем его спрашивают, он должен посоветоваться со своим отражением. Он всегда так делает. После этого он обещал нарисовать разными цветами тайные пути отрядов, их стоянки, схроны и прочее... Ему принесли зеркало, бумагу, коробку акварельных красок, кисточки, кружку с водой. И оставили одного, в охраняемой палатке.

Когда в палатку вошли, ни на карте, ни на листах чистой бумаги не было ни одной пометки. Темное лицо человечка было все перемазано акварельными красками, как бывает иногда у детей в детских садах — порою их тянетлизать сладкую



Ничего вытянуть из него не удалось.  
Его расстреляли.

акварель, в которую при изготовлении добавляют мед. Он широко и радостно улыбался вошедшим — все его зубы были аккуратно выкрашены в разные цвета. Кажется, он даже пытался соблюдать последовательность расположения цветов в коробке с красками.

Ничего вытянуть из него не удалось. Его расстреляли. Кажется, это сделал собственноручно рассказчик истории.

— В Афгане мне приходилось делать вещи похуже, — сказал он. — Я совсем забыл про это. А в этом году был в Штатах, по бизнесу. В баре познакомился с одним чуваком. Бухали вместе, чем-то он мне понравился. Он рассказал, что воевал во Вьетнаме. Я его ни о чем не спрашивал, не хотел лезть в душу, но он сам стал рассказывать — про джунгли, про сожженные деревни... И вдруг, ты не поверишь, дед, он рассказал точно такую же историю про выкрашенные зубы. Один в один. Я охуел. Сильно как-то охуел. Глубоко. Даже сам не ждал от себя. Я ему ничего не сказал про Афган, про того человека из племени, а почему не сказал — сам не знаю. А через два дня прочитал в местной газете, что того американца (он был коммерсант, из другого штата) нашли в отеле мертвым. Убили парня. А все зубы у трупа были выкрашены красками, в разные цвета. Все лицо и вся рубашка у него были в краске. В газете писали, что это сочли издевательством над телом убитого. Такая история, дед. Я и до этого пил, а после этого запил серьезно. Вот, решил себе раскрасить зубы. А зачем — не знаю. Может быть, дух того человечка заставил? Ты в духов веришь, отец?

Старик налил себе спиртного, выпил, крикнул, вытер рот тыльной стороной ладони. Затем внезапно расплылся в широкой веселой улыбке. Старческое лукавство заиграло в глазах, как солнце в стакане с виски. Все зубы старика оказались

золотые, что странно контрастировало с его нищенской одеждой, с убожеством комнаты. Видимо, ветеран знал лучшие времена.

Он улыбался так заразительно, что в ответ ему разулыбался и парень-афганец.

Дикое весеннее солнце все ярче врывалось в пыльное окно, в его лучах сверкали золотые зубы старика, и в этих зубах, как в маленьких ясных золотых зеркалах, отражались разноцветные зубы человека, сидящего напротив.

*28 января 2005*

*Поезд Дюссельдорф—Цюрих*

О рыцаре Ульрихе Торпенхоффе говаривали, что это «буйная головушка», вояка до мозга костей, что ему сам черт не брат и что пролить чужую кровь для него все равно что выпить холодной воды.

В местах, где еще помнят о берсерках, называли берсерком и его, но ничего медвежьего в его облике не наблюдалось, скорее волчье, если бы скрестить худого волка с серым дроздом.

Он владел замками Торн и Торпен, эти два замка увенчивали собою две горы: одна рядом с другой. Между горами находился городок Тугреве — довольно богатый торговый городишко, давно уже выкупивший у Торпенхоффов все их земли, за исключением двух горных вершин с замками. Торн давно стоял в руинах, деревья качались под ветром на его стенах, дикие красные сосны выросли над провалившейся крышей, и ветви их развевались над Торном вместо флагов. Торпен же еще при отце Ульриха считался жилым замком, но необузданный нрав рыцаря распугал всю челядь: отчасти он сам выпгнал своих слуг, отчасти они разбежались. Жениться и обзавестись детьми он никогда не желал: война была его единственной любовью. Он полжизни провел в походах, воевал в самых разных армиях, под различными флагами скакал в бой, совершенно безразличный к тому, какой стяг развевается над его головой, видел разные страны, но настало мирное время, и он вернулся: говорят, в Торпене, внутри, все было изрублено мечом — картины, статуи, резная мебель, го-

белены... Так развлекался, скучая, рыцарь Ульрих Торпенхофф.

Наконец он бросил опустевший и изуродованный Торпен и спал близ Торна в военной палатке, в лесу, под охраной верных псов. Алчность была ему совершенно чужда: он ничего не привез из своих походов, ни одного трофея, ни одного украденного сокровища. Ничто не отягощало его седельной сумки. Разве что конь — его он любил. Кажется, его звали Туген.

Он охотился или спал, жарил мясо в костре, но иногда заезжал в Торпен наведаться в родовые винные погреба, и потом становился опасен. Однажды в торговый день (а Тугреве превращался в такие дни в оживленный и веселый рынок) он ворвался в городок на полном скаку и промчался по главной улице, выбросив в сторону правую руку с обнаженным мечом. Говорят, он мчался так быстро и так ловко орудовал мечом, что отрубленные головы торговцев и покупателей падали в корзины с фруктами или на расстеленные ткани, или на холодную, еще живую рыбу, заботливо проложенную льдом и речными травами. Так он проскакал до самой ратуши, там смыл кровь с меча и со своего лица водой из фонтана, взглянул на городские часы и умчался в Торн, продолжать свой ужин у костра.

После этого случая его смертельно боялись, горожане стали выставлять вооруженную стражу у городских ворот, но Торпенхофф затих на своих вершинах: все решили — это была короткая вспышка безумия, вызванная вином. Тем не менее часовые должны были наблюдать день и ночь за дорогой, ведущей к городу: не скачет ли Ульрих? Хотели даже некоторые смельчаки убить его, но кто боялся его меча, кто мести его родни, да и все же не забывали, что предки его были хозяевами этих мест.

Лицо у него было длинное, сухое, темное от солнца, с огромными выпуклыми бледными глазами, а с подбородка свисала на грудь узкая, но дикая борода такого же темно-пепельного цвета, что и лицо.

Вскоре он снова ворвался в город, но это был уже не базарный день, напротив, стоял жаркий летний полдень, и город был весь как вымерший: все спасались от жары или спали в домах. Если же кто-то и бродил по улицам, то они разбежались, предупрежденные криками часовых и грохотом копыт рыцарского коня. Как и в прошлый раз, он мчался с обнаженным мечом в выброшенной наотлет руке, он проскакал по главной улице до ратушной площади, никого не встретив: редкие прохожие бежали при его появлении. На ратушной площади он снова взглянул на городские часы, спешился и подошел к фонтану — струя холодной воды ниспадала из мраморной чаши в каменный восьмигранник. Он хотел омыть меч, но тот был чист и светел. Тогда он вложил меч в ножны и омыл лицо холодной водой, поступающей сюда по трубам из подземного источника.

В этот момент раздался странный металлический звук, как будто открыли огромную железную бутылку, и голова рыцаря отвалилась от его тела и упала в воду.

Тело в латах опрокинулось и рухнуло на плиты площади.

За сценой наблюдали многие из окон, сквозь щели между прикрытыми ставнями. Такой смерти — чтобы сама собой отпала голова — никто никогда не видел.

Один глубокий старец из числа старейшин города сидел на ступеньках ратуши и курил свою



Такой смерти - чтобы сама собой отпала голова -  
никто никогда не видел.

длинную фарфоровую трубку. Он был так стар, что всегда мерз, и поэтому единственный не скрывался от жары в этом городе: напротив, холод так изъел его, что он постоянно был облечен в смешанные меха; грели его и лоснящиеся бобры, и рыжие куницы, и волки, и горностаи. Лицо его казалось ветхой изнанкой этого нагромождения шкур.

Давно этот старец обходился без слов, считая это пустой суетой: он все курил, и только дым исходил из его сморщенных уст. Но тут он встал со своего резного кресла, сделал несколько шагов к фонтану, отягощенный пушной рухлядью, и произнес:

**ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ.**

Голову достали, и, к изумлению горожан, она оказалась из чистого золота: золотая голова рыцаря в остром золотом шлеме, с золотой бородой, с суровым и вытарашенным лицом. Так произошло чудо. Тело рыцаря осталось плотским и тленным, поэтому его спешно предали земле, а голову поместили в сокровищницу ратуши — с тех пор золотая голова на фоне синего потока стала знаком Тургриве, а под изображением на гербе пишут слова старца, который все не мог согреться:

**ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ.**

У одной семьи был дед-фронтовик, который с ними никогда не общался. Жил один, замкнуто. Семья же была шумная, многодетная, жили сумбурно, с весельем и ссорами — в общем, очень по-человечески, только денег все не хватало. Про деда же знали, что он далеко не беден, хотя тот и обитал в скромной однокомнатной квартире и никакой роскоши себе не позволял.

Иногда в семье вспоминали про деда, хотя толком его никто не знал, но все же родственные связи... Иногда им хотелось как-то помочь старику, скрасить его одиночество, думали, что, наверное, ему было бы любопытно посидеть среди маленьких правнуков и правнучек... А иной раз, напротив, задумывались о том, что не худо бы и деду помочь им деньгами, раз у него их много, а здесь детворы навалом и множество надобностей...

Не раз приглашали его в гости, на дни рождения детей и прочее, но дед не приходил, ссылаясь на то, что он — старый нелюдим и никому не может быть интересен. Возможно, когда-то его обидели чем-то — о том не могли вспомнить.

Наконец решили пригласить его на 9 Мая: вспомнили, что он кавалер многих орденов и свято чтит память о войне. Не очень-то надеялись, что он придет, но праздновать решили по-любому, пригласили еще гостей, накрыли настоящий праздничный стол в большой комнате: для такого случая достали из шкафа крахмальную скатерть, которая вся сияла и хрустела, расставили хруст-

тальные бокалы, фужеры... Цветы и салаты — все празднично пестрело на столе. Готовили все вместе, с детской помощью, дети расставляли бокалы, раскладывали вилки и ножи, толкались, смеялись, роняли приборы под стол, возбужденные атмосферой торжества. Кидались мячиком и уронили его в салат, переживали, что сладкий пирог пригорел... Спорили, какие класть салфетки — белые, матерчатые, или красные, бумажные, с утятами во фраках. Решили в пользу белых, солидных — все же День Победы. Пришли друзья, и тоже с детьми, с мелкими подарками. Уже в прихожей началась радостная суeta, женщины рассматривали красивые платья друг на друге, девочки хвастались бусами, мальчики стреляли друг в друга из пластмассовых пистолетов. Стали рассаживаться за стол, разбили бокал — к счастью, конечно. В этой суматохе про деда как-то забыли. Но тут раздался звонок в прихожей, и он вошел, держа в руках маленький квадратный торт. Дети притихли, с любопытством разглядывая старика, про которого знали, что это «прадедушка», но видели его впервые. Он был невысокого роста, худой, в коричневом костюме, с орденами и медалями на лацканах пиджака. Его усадили на почетное место во главе стола, налили ему коньяку. Старик был немногословен, держался как-то загадочно, неподвижно. Ел и пил мало, молчал. Поначалу от этого за столом возникали неловкие паузы, повисало напряженное молчание, но постепенно разговор вернулся в изначальное состояние, дети перестали робеть и снова стали носиться по комнатам с пистолетами и мячами, с калейдоскопами и прочей веселой дребеденью, женщины болтали, мужчины курили и шутили... Выпили, конечно, за День Победы и лично за деда, за его подвиги времен войны.

Майский благоуханный вечер лился в открытую дверь балкона, золотой закат пылал, отража-



Про деда немного подзабыли - он неподвижным,  
темным силуэтом сидел во главе стола.

ясь во всех стеклах, дробясь в хрустале ваз и бокалов. Постепенно темнело, и комната наливалась свежими сумерками, но никому не хотелось зажигать свет — так хорошо было сидеть в синеве догорающего весеннего дня, пить вино, беседовать... Огоньки сигарет то и дело вспыхивали в сумерках.

Про деда немного подзабыли — он неподвижным, темным силуэтом сидел во главе стола.

Не успел день догореть, как роскошный салют озарил небо разноцветными огнями. Дети и взрослые высыпали на балкон, дети кричали «Ура!», приветствуя каждый букет огней, взмывающий в темно-синее небо, и им отвечали из дворов и окон сотни других голосов, тоже кричащих «Ура!».

Крик «ура» поднимался из темных дворов, где уже зацветали деревья, и было так сладко и таинственно сливаться в крике с множеством невидимых людей. Салют отражался в окнах ближайших домов, букетиками огней повисал в детских зрачках, расширенных от восторга.

Когда последний залп отзвучал, и в небе остались только прозрачные дымные очертания угасших видений, все вернулись в комнату и увидели, что деда за столом нет. Пока все смотрели салют, он тихо ушел. Возле его тарелки на скатерти лежал желтый конверт. Его взяли в руки, он был чуть влажный, и на желтой бумаге конверта проступали какие-то красновато-бурые пятна. Конверт открыли — в нем находился очень тонко отрезанный (точно по размеру конверта), плоский, как страница, кусочек сырого мяса.

В 2039 году американские войска заняли Москву. Мы не станем в этом коротком рассказе описывать все, что этому событию предшествовало и сопутствовало. Началось все с усиления охраны американского посольства, которое подверглось до этого жестоким и разрушительным нападениям. Охрану посольства усилили батальоном морской пехоты США, а вскоре американцы и их союзники полностью контролировали столицу. Российское государство сохранило лишь формальную независимость.

Москва сдалась без боя, даже в атмосфере праздника, словно все — правительство, духовенство, банкиры, нищие, рабочие, торговцы — только этого и ждали. И праздник продолжался: огромные национальные символы России реяли над Кремлем, созданные лазерными проекциями — гигантская матрешка висела над кремлевскими соборами, необозримый снеговик высился над храмом Христа Спасителя, над Лубянкой возникали и таяли образы русского лубка. Колоссальный сводный концерт мировых звезд гремел и сверкал, песня «I love you, Russia!» звучала повсеместно, светские приемы следовали один за другим...

Какие-то жалкие и отчаянные попытки сопротивления были подавлены быстро и тихо. В столицу лишь смутно доходили слухи о восставшем Питере, о разбомбленных городах Южной России. Но в Москве говорили: «Мы им не нужны. Они всего лишь хотят контролировать месторождения

нефти и газа, а нам — взамен — они готовы дать свободу и веселье».

Отчасти те, кто так полагал, не ошибались. Но лишь отчасти.

Роскошно праздновалось в Москве 4 июля 2039 года — дата эта к тому времени объявлена была Днем Освобождения Земли. В числе прочих мероприятий праздника устроили специальный показ мод для особо отличившихся американских офицеров и командного состава. Должен был присутствовать на показе и командующий американским контингентом в России Джон Коуэлл.

В огромном зале по синему подсвеченному подиуму двигались back and forward прекрасные девушки. Самые красивые, самые юные и успешные модели Москвы были выбраны для этого шоу «Military Kiss» («Военный поцелуй»). Одежда, естественно, откликалась на темы войны и военных, но все изящно переосмысленное, словно война превращалась в цветы, распускающиеся на девичьих телах. На подиуме доминировали защитные цвета, камуфляж, а также ярко-серебристые детали шлемов и мини-скафандров. Зал же был весь в белом — в том году ввели белоснежную летнюю форму для всех офицеров и генералов США. Angels of Freedom — Ангелы Свободы — так в прессе называли эти фигуры слепящей белизны, с золотыми буквами V (valor) на груди.

Чем дальше шел показ, тем меньше одежды оставалось на девичьих телах, ведь стояло жаркое московское лето, и камуфляжные куртки быстро сокращались до топов, военные штаны, усеянные громоздкими карманами, сворачивались в узкие шорты, в юбочки, в темные трусики с военными эмблемами. Под конец девушки вышли совершенно обнаженными, в одних тяжелых военных ботинках, в шлемах с рациями, с приборами ночного видения, с имитациями базук и огнеметов в



Выстрел Ани Паниной стал сигналом  
к восстанию всей России.

руках... Изящество стройных тел контрастировало с роскошной громоздкостью оружия. Это вызвало горячие аплодисменты зала. Многие уже присматривали себе любовниц и негромко переговаривались, сравнивая красоту своих избранниц.

До начала показа девушки (никому не было более шестнадцати) собрались в комнате для переодеваний. Среди вороха одежд они, голые, встали в кружок, затеплив в центре свечу. Аня Панина, пятнадцатилетняя красавица с пронзительными синими глазами, открыла томик стихов Ахматовой и тихо произнесла:

— Питер сражается. Каждая улица, каждый дом... Старики и дети встали на защиту нашей страны. Взрослые обоссались или их купили. Наши девочки и мальчики гибнут... Вот что я прочту вам:

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет!

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  
Не страшно остаться без крова,  
Но мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово!

Свободным и чистым тебя пронесем  
И внукам дадим, и от плена спасем.  
Навеки.

Воцарилось недолгое молчание, только метался и потрескивал огонек свечи в центре круга из девушек. Затем — как по команде — вспыхнул свет, и все засуетились, готовясь к показу. Все девушки знали, что должно произойти.

В конце подиума обнаженная Аня Панина вскинула тонкую руку и в руке блеснул якобы бу-тафорский пистолет. Музыка смолкла.

- ПОШЕЛ НА ХУЙ, ГРИНГО! - прозвенел на весь зал ясный девичий голос. С этими словами Аня выстрелила в грудь генерала Коуэлла. Смуглое мужественное лицо запрокинулось всеми своими морщинами и аккуратными сединами, кровь хлынула на белый мундир с орденами за Ливию и Корею.

Выстрел Ани Паниной стал сигналом к восстанию всей России. Народ проснулся.

Что стало с девушками — неизвестно. Все они исчезли в тот же день раз и навсегда.

После Освобождения это место назвали Площадью Моделей.

В центре площади установлен бронзовый подиум, на самом конце которого — стройная фигура обнаженной девушки в шлеме и военных ботинках. Она целится из маленького пистолета куда-то в блаженную пустоту.

По тротуарам вокруг днем струится поток прохожих, ночью бродят влюбленные парочки, а Аня Панина все целится из своего пистолета, и у каждого в сердце нет-нет да и вспыхнет ее звонкий детский голос:

ПОШЕЛ НА ХУЙ, ГРИНГО!

*Москва, 2004*

...И гробы извергнут своих мертвецов.

*Апокалипсис*

Жил-был живой гроб. Если вы думаете, что имеется в виду некий человек, которого метафорически можно описать как «живой гроб» (нечто вроде евангельских фарисеев), то имейте в виду: речь совсем не об этом. Также речь не о китах или других животных, поедающих трупы. Живой гроб не был человеком, китом или гиеной — он был гробом. Впрочем, природа этого существа нам совершенно неизвестна: откуда он взялся, из какого мира или с какой планеты принесло его — неведомо. А может быть, и наш земной мир порождает изредка таких существ — то ли случайно, то ли в качестве шалости — кто знает? Но, возможно, это был хитрый инопланетянин-трансформист, проникший к нам на Землю и увлекшийся идеей стать гробом — вероятно, это напоминало ему как-то жизнь на родной планете или занятия его в родных краях. Об этом мы тоже ничего не знаем. Знаем только, что он обожал быть гробом.

Ну, естественно, хитрый гроб скрывал, что он живой — иначе кто бы стал хоронить в нем своих мертвецов? Казался он совершенно обычным гробом, как-то умел затесаться среди других гробов, настоящих, мертвых (точнее - неодушевленных), лежал среди них неподвижно и твердо, но в нужный момент умел так вывернуться, чтобы первым попасться под руку работникам ритуальных дел (так именуют их в нашем обществе, как будто нет в нем других ритуалов, кроме похоронных), и первым оказывался в грузовике и «ежал на дело». Ма-

шину потряхивало на ухабах, вздрагивал и гроб — на самом деле он внутренне весь дрожал в предвкушении главной своей радости. И вот наступал предвкушаемый момент: его открывали и бережно укладывали в него холодное тело. В этот момент душа гроба трепетала, как трепетать может разве что девичье сердце в тот миг, когда рука мужчины впервые обнажает ее тело, раздвигает ее ноги, и она понимает, что вот-вот в ее сокровенные телесные владенья вступит тот гость, для коего эти владенья и устроены так, как устроены они.

Гроб являлся бесполом существом, но разновидность его упоений, кажется, ближе к женским ощущениям от физической любви: его открывали, он принимал в себя... Мы с удовольствием называли бы его в женском роде, но нам не позволяют правила русского языка, в котором слово «гроб» относится к роду мужскому. Это и к лучшему: в дальнейшем мы увидим, что мужские радости отдачи и выплеска были ему целиком и полностью присущи, так что можно считать этот гроб гермафродитом.

Гроб любил не всех мертвецов, он предпочитал молодых девушек и военных. Вообще, к мужчинам относился прохладно, недолюбливал стариков и старух, но делал исключение для тех, что воевали, особенно если хоронили их в полной форме, при орденах и регалиях. Трудно сказать, почему он так обожал все военное, почему так млеял от униформ, от золотого шитья, от ружейных выстрелов над свежей могилой. Возможно, на планете, откуда он происходил, шла вечная война — конечно, мы не знаем, были ли он и в самом деле инопланетянином, но ведь и на нашей планете постоянно идет война, так что страсти этого гроба могут считаться страстями вполне земными. Тем более, он любил землю, любил периодически уходить в ее прохладную глубину.

Но долго он там не оставался, его слишком переполняло ликование, ему хотелось дать выход своей радости, и тут по углам гроба появлялись своеобразные ручки да ножки, на манер тех, которыми обладают предметы в диснеевских (да и не только в диснеевских) мультфильмах. Этими ручками и ножками он начинал брыкаться, ворошить землю, рыться и откапывать себя — тут наступало время для той классической сцены, которую так часто приходится видеть в фильмах ужасов: ночь, кладбище, земля на могиле начинает дрожать, вспучиваться и оттуда нечто вылезает. В упомянутых фильмах выезжает обычно обитатель гроба, мертвец, ставший, скажем, вампиром... Но тут вылезал сам гроб, мертвое же тело, хранимое им, оставалось мертвым — и что тут начиналось! Когда никто не видел его, гроб давал волю своему восторгу: он прыгал, скакал, носился по кладбищу, но кладбище казалось ему уже тесным и унылым, он убегал и старался выбраться за город, на просторы, в безлюдье и в привольную глушь — туда он добирался или перебежками, хоронясь от ночных прохожих (бегал он с поразительной скоростью), или в товарняках и на крышах поездов, прыгая туда с железнодорожных мостов.

И там уже, в лесу, в поле, при луне, становилось ему так хорошо и весело, как, может быть, никому никогда — он носился без усталости среди трав, вдыхая их ароматы, танцевал под луной на полянах, он пел — да, он пел, он умел петь, причем всеми мыслимыми голосами, которые струились из его якобы древесных щелей, он играл своим мертвецом — подбрасывал, ловил, пока наконец не находил подходящее место, как правило, это бывал высокий обрыв над рекой, откуда открывался прекрасный и далекий вид.

И тут он выпускал мертвеца на волю, он открывал себя, распахивал настежь и, стоя на самом



...Почему гроб кричал по-английски? Кто знает...

краю обрыва, встряхивался всем телом с восторженным криком: «Флай!» И мертвец выпадал, и то был момент счастливого упоительного полета, который этот живой гроб дарил своим мертвецам — он ведь любил их и сберегал от унылого тлена, он дарил им полет, и в этот момент видел их совершенно ясно, как бы в замедленной съемке: видел, как падает девушка или офицер, как парят длинные девичьи волосы, как руки ласкают воздух прощальными всплесками... и тело падает долго-долго, чтобы затем с торжеством обрушиться в серебристую речную воду — и это Коронация, ибо что может быть великолепнее той короны свежих алмазных брызг, что взметнется при таком падении? И затем тело, все в светящихся пузырьках, плывет и кружится в потоках, словно став русалкой или ночным пловцом или лодочкой для своих орденов... И эхо несет над ландшафтом, над купавами и тропами рыбаков освобождающий крик живого гроба: «Флай! Fly once more!»

Почему мы должны доверять лишь тем ядовитым речам, что нашептывает нам печаль? Почему не уверовать детскому лепету счастья, которое иногда вкатывается в нашу душу ненароком, словно разноцветный мячик? Нас учат, что лишь мрачные речи правдивы, но я говорю вам: этот гроб был добрым, он не только был весельчаком, но и великодушнейшим созданием, и следовал не столько прихотям своего сладострастия, сколько тому своеобразному милосердию, которое сообщила ему странная его природа. Он хотел, чтобы не только души людей, освобожденные смертью, отправлялись в блаженный полет, но и тела, и, крича им вслед «Флай!», он верил, что, возможно, этот полет — не последний и что когда-нибудь все тела воскреснут и рука об руку со своими душами еще полетают над землей в ночном и свободном небе.

Пережив очередной катарсис, выплеснув чашу своих чувств вместе с очередным невинным телом (ибо все тела невинны), гроб перебежками, прятаясь, возвращался в город — и замирал где-нибудь на складе гробов, впадал в сладкое оцепенение — до следующего раза. А над лесами и полями это еще долго носило его воодушевленный крик «Флай! Fly once more!»

Почему гроб кричал по-английски? Кто знает. Наверное, потому, что этот язык стал интернациональным, а живой гроб любил перебираться из страны в страну, избегая, правда, тех краев, где в силу традиций и обычаев не принято хоронить людей в гробах.

2004

*Поезд Цюрих—Берлин*

Через час после рассвета энергия танцующих пошла на убыль: силы оставляли людей так внезапно, что они падали на песок и засыпали прямо на пляже под лучами утреннего солнца. Постепенно все больше спящих людей устилало пляж, парочки замерли, сплетясь, некоторые беззаветные танцоры лежали, раскинувшись морскими звездами, и позы их хранили отпечаток последней фигуры танца, девочки спали, свернувшись калачиками, уложив головы на рюкзачки, некоторые в беспамятстве уткнули лица прямо в песок — здесь и так все были молоды, а сон придавал лицам окончательно детское, даже младенческое выражение. Все эти тела в пестрых одеждах образовывали собой сложный узор, нечто вроде орнамента, покрывшего собой эту часть берега. Музыка стихла, и остался лишь шелест моря и редкие крики чаек.

Но я не уснул и ходил среди них, рассматривая спящих. Потом я поднялся на опустевший помост, усыпанный конфетти и золотой пылью, где одиноко развевались оранжевые флаги, и встал там, обозревая усеянный спящими пляж. Внезапно что-то произошло со мной — могущественный flash back прокатился по моему мозгу, и в то же время присутствовало в этом состоянии нечто из ряда вон выходящее, непохожее ни на что прежде испытанное. В той вязи, которую образовывали тела, обозначились вдруг пробелы пустого истоптанного песка, и эти прорехи, эти паузы между



...ни ужаса, ни горечи не было в этом зрелище...

группами тел вдруг стали как бы светиться почти режущей белизной, и внутри этой белизны словно что-то зарождалось, назревало, собиралось проступить... И действительно, в этих пустых местах пляжа стали обозначаться некие очертания, вроде бы тоже лежащие фигуры — где-то рука в разорванном рукаве, где-то козырек, где-то спина, перетянутая портупеей... Они проступали все явственнее, материализуясь на глазах, и вдруг стало видно, что это тела павших солдат, судя по униформам, времен Великой Отечественной войны. Советские и немецкие солдаты лежали, уткнув друг в друга мертвые лица, покрытые копотью и кровью. Они обрушились там, где подкосила их схватка, и так же, как и у спящих рейверов, тела их складывались в объятия или же одиноко лежали, уронив головы в песок. Так мучительно и странно смотрелись эти трупы на ласковом пляже, так поразительно вплетался этот узор мертвых тел в грубых военных одеждах в пеструю вязь спящих, что я сам оцепенел и в удрученном изумлении стоял под ярким солнцем, среди трепещущих флагов.

Но удивительно — ни ужаса, ни горечи не было в этом зрелище. Все пронизывалось покоем, и во всем сквозило дыхание отдыха — все уже произошло — и экстаз танца и экстаз боя, — все минуло, и два этих поля — поле битвы и поле любви, — проступив друг сквозь друга, скованы были единой неподвижностью, сном... Эти павшие явились сюда, не оживая, не пробуждаясь от своего глубокого сна — они не пожелали ни сами пробудиться, ни пробудить живых, они деликатно возникли именно тогда, когда их сон мог тихо соседствовать со сном живых. И становилось понятно, что мальчики и девочки, спящие здесь после ночи сумасшедшего танца, предавались своему счастливому экстазу не только за себя, но и за них, за этих павших... Радость и беспечное упоение, царствовав-

шие здесь всю ночь, проникали по каким-то неизвестным каналам в души этих давно убитых солдат, иллюминируя их вечные сны.

Через несколько минут тела советских и немецких солдат стали бледнеть, таять и вскоре исчезли.

Обессиленный, я опустился на помост, и отдых навел на меня.

*2004*

Течение толпы становилось все более сильным и непредсказуемым. Дунаева стало сносить, как водоворотом, к воронке, к эпицентру всего этого движения толпы — к так называемому Белому дому, огромному троноподобному зданию Парламента (раньше в этом здании размещалось правительство РСФСР). Каким-то образом его втянуло внутрь здания. Здесь было оживленно, бегали люди с автоматами, отдавались какие-то распоряжения. Отсюда велось управление этим восстанием. Группы вооруженных людей формировались на нижних этажах и выезжали на штурм объектов в Москве. Дунаев бродил по лестницам и коридорам этого огромного здания, его как будто везде узнавали, выдавали ему какое-то оружие, которое он тут же терял, давали ему поручения, которые он тут же забывал. Он находился в полубреду. Пьянящая мутная энергия мятежной толпы действовала на него одурманивающе, он словно попал в кипящий котел с неяршливо изготовленной брагой. Как-то раз он даже оказался сидящим за столом совещаний в каком-то кабинете, где обсуждался вопрос чуть ли не о будущем правительстве. Хотя Дунаев был явно уже сильно не в себе, и это, наверное, бросалось в глаза, но его как-то делови-

\* Этот рассказ является одновременно окончанием романа «Мифогенная любовь каст», включающим в себя тот вариант концовки, который не вошел в опубликованную версию романа.



- Танки! Танки, блядь!

то везде принимали, возможно, потому, что здесь много бродило таких. Он сидел среди сдержанных подполковников, среди старых партийцев и молодых фашистов, ему даже предложили принять участие в работе какого-то комитета при будущем правительстве, но при этом почему-то не спросили его фамилию. Иногда безумие его покидало, и тогда он различал вокруг себя две категории людей: одни чувствовали себя загнанными в угол, они переполнялись едкой горечью и отчаяньем и в отчаянии становились способными на все. Другие, напротив, наслаждались ликующей надеждой, им казалось, зубы их уже соприкоснулись с хрустящими покровами Торты Власти и через секунду они укусят по-настоящему, чтобы испытать незабываемые ощущения и возвыситься. И тех и других связывала воедино истерическая искорка, вспыхивающая в глубине их глаз — искорка, хорошо знакомая Дунаеву по зонавским беспределам. Действительно, сильно пахло этим, но одновременно и другим. Многие люди, явно совершенно сумасшедшие, и другие, видимо нормальные, но сильно возбужденные, что-то ворошили сообща, что-то вместе делали, как жуки.

Быстро формировались и вновь распадались отряды и группы под различными значками и флагами: флаг с ликом Христа, коммунистический красный флаг, флаг Советского Союза, фашистский флаг со свастикой, императорский штандарт дома Романовых — все это странно перемешалось. Дунаеву было все равно. Он думал о внученьке.

Ночь прошла незаметно, в бреду. Наутро в какой-то момент показалось, что все уже схвачено и как-то оцепенело, и в этом оцепенении почувствовался тусклый надлом, какая-то щель, и в нее хлынул тяжелый запах — что-то напоминающее о мучительном пробуждении после пьянки, когда

просыпаешься в прокуренной комнате, среди кислой блевотины... В этот момент на противоположной стороне реки показались танки. Танковая колонна медленно двигалась по Кутузовскому проспекту, мимо гостиницы «Украина».

— Танки! Танки, блядь! — забормотали и заголосили все вокруг. И Дунаев вдруг вспомнил слова Холеного, сказанные им о танках: «Эти вещи из глубины... из самой глубины к нам пришли».

Дунаев жадно смотрел на колонну, прикинув к уголку окна. Впервые со времен войны он видел танки.

Боевые машины тяжело вышли на мост и с середины моста головной танк открыл огонь по их зданию. Полыхнуло, грохнуло, потек едкий дым сквозь комнаты. И снова ударило, и еще, и вот уже все горело, все бежали, матерясь, хрустя разбитыми стеклами, а кто-то еще бессмысленно палил из окон... Все это так сильно напомнило Дунаеву войну, что он чуть не закружился по этим горящим комнатам в танце. Он все смотрел в свой кусочек окна и видел Ее — над танками, над Москвой стояла Она в ясном утреннем небе. Огромная, ростом с гостиницу «Украина», в распахнувшемся белом полущубке, со сверкающими снежинками на лице. Это была она — Внученька. Это она, Настенька, двинула на них танки, и она указывала направление выстрелов рукой в сверкающей варежке...

**- ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЕ!**

Это звучал голос чистого снега, молоденького, еще не рожденного снежка, который собрался вскоре снизойти на страну.

Огромная Ель вставала за Внучкой, вся состоящая из нерожденных еще миров.

Дунаев не помнил, как выбрался из горящего здания. В мыслях зияло лишь одно:

**Забрать подарки — и к ней! ПОРА!**

Гости съезжались на дачу, как говорит русская литература. И она не лжет. Семья Луговских, которым принадлежала дача в поселке Отдых, была замечательна многим, в частности тем, что не приходилась Настеньке Луговской никакой, даже самой отдаленной родней. Тем не менее Настенька любила дружить с этой большой и сумбурно-благополучной семьей, которую в ее семье называли не иначе как «другие Луговские».

«Другие Луговские» были из числа тех семейств, которые, как хотелось бы верить, никогда не переведутся в России: с весельем, с играми, с девушками на выданье. Чем-то отчасти напоминали семейство Ростовых, описанное Толстым. Впрочем, даже веселее, чем у Толстого, так как девочки Луговских, даже и выйдя замуж, оставались в некотором смысле по-прежнему «на выданье», настолько они казались открыты по отношению к миру. Их отец Аркадий Луговской в молодости был человеком богемным, да и сейчас, перевалив за пятьдесят, любил и странно одеваться, и поражать чудачествами. Слыл обаятельным матерщинником и мастером неожиданных записок. Он мог послать ни с того ни с сего кому-то из своих друзей, например, письмо такого содержания:

Степан!

До меня дошли сведения о том, что твоя племянница достигла наконец того возраста, когда ей недурно быть совращенной собственным дядей. Сам я ее не имел счастья видеть, но, имея в виду принятые в вашем семействе, по женской линии, красивые глаза и приятные прямые носы, памятуя о которых я и чиркнул эту записку. Остаюсь, загадочно.

*Арк...Луговской*

Соседу по даче, ветерану войны, который воровал у Луговских дрова, он написал следующее:

Майор!

Знаю, что не другой человек, а ты воруеть наши дрова, но поскольку ты пролил кровь за Родину, постольку за твое здоровье пью стакан красного вина.

Без симпатии, но с уважением  
*Луговской*

При всех этих чудачествах Аркадий Олегович был человек умный и мог дать дельный совет по самым разным вопросам. Суховатый, светловолосый, хрупкий, он на этот раз встречал гостей в рокерской майке с изображением головы волка, в белых брюках и в турецких туфлях, расшитых золотом, с загнутыми носами. Таков уж был «другой Луговской». Гости съезжались не вечером, а днем, потому что поводом являлся День Рождения младшего сыночка этой семьи — Илюшеньки Луговского, которому сегодня должно было исполниться четыре года.

Приехали в Отдых и Настя с Тарковским. Держа в руках красивые подарки, они прошли на большую светлую веранду, где за праздничным «детским столом» сидел разгоряченный именинник в окружении других детей и девушек. Они погладили его по мягковолосой голове: голова ребенка казалась раскаленной, настолько он был возбужден своим праздником. Видно было, что пик этого возбуждения позади, что именинник уже изможден ликованием, и, несмотря на то что он вертелся и трогал подарки, глаза его свидетельствовали, что его душа постепенно погружается в сон. В других комнатах большой дачи люди разных возрастов пили вино и водку, обсуждали своих знакомых, свои собственные приключения и, конечно же, вчерашние события в Москве.

Со второй веранды доносилась музыка, там уже понемногу танцевали. Настя и Тарковский

встретили старшего, девятнадцатилетнего сына Луговских Костю и его девушку Катю. С ними они договорились повстречаться ночью на вечеринке в «Солярисе». Костя и Катя поманили Настю и Тарковского в пустую узкую комнату, где Костя вынул из кармана конверт, а из него выпряхнул на ладонь несколько маленьких светлых, как бы бумажных, квадратиков.

— Это ЛСД, — сказал он. — Настоящая английская кислота. Сорт называется «Ом». Рекомендую принять где-то часа через полтора. Тогда как раз в «Солярисе» торкнет.

Настя и Тарковский взяли по квадратик и спрятали их.

В комнату заглянул Аркадий Олегович.

— А, вы здесь, — сказал он рассеянно. — Ая как раз вас и ищу. Пойдемте, покажу нечто странное. Такое вы не сразу забудете. Или наоборот — забудете сразу же.

Они вышли из дачи через боковую дверь. Осенний сад шелестел полуопавшими деревьями, все вокруг золотисто хрустело, было ясным, кое-где схваченным октябрьской паутиной, и холодный ветерок ласково гулял здесь один. Только ели, изумрудно-мрачные, сохраняли свою тьму среди этого золотца, дымки и синева. Луговские обладали огромным дачным участком, который отчасти выглядел как кусок леса, но с одного края его засадили яблонями, а за ними блестели стекла теплиц, где Аркадий Олегович выращивал цветы. Цветы были, как ни странно, его страстью, даже тайной страстью, так как он не любил говорить о них, а если и показывал друзьям выращенные им новые сорта, то никак не комментировал, и на восклицания о красоте цветов только пожимал плечами, словно это не он, а какой-то другой человек вырастил их.

— Мы идем смотреть цветы? — спросила Настя.

— Нет, не цветы, а странный камень, — ответил Луговской.

Они подошли к одной из теплиц. И Настя с Тарковским разглядели в стекле этой теплицы большую дыру. Войдя, пригнувшись, внутрь, они увидели большой камень, лежащий на грядках с цветами.

Камень лежал, глубоко вдавившись в рыхлую землю. На его гранях сверкала золотистая странная пыль.

— С самолета, что ли, сбросили? Или с вертолета? — пожал плечами Луговской, изумленно глядя на камень. — У нас тут, сразу за железной дорогой, город Жуковский, там авиационные институты, часто испытательные полеты проводятся. Но зачем сбрасывать камень? Или это метеорит упал прямо из космоса? Из разряда тех глупых историй о необъяснимых явлениях, которые печатаются в дешевых газетах.

Луговской растерянно посмотрел вверх, в синее осеннее небо.

Вскоре Настя с Тарковским покинули Отдых. Им надо было поспеть в «Солярис» раньше обычного ночного времени, так как там сегодня собирався состояться показ мод, в котором Настенька обещала участвовать в качестве одной из моделей. В Москву ехали из Отдыха в электричке, которая оказалась вся разбита внутри, изрезана ножами, кое-где без стекол в окнах. Зато вагоны заливал медвяный закатный свет, и разруха превращалась в роскошь в этом вельможном свете. Людей было много, и самых разных: калеки пели песни, щедро играя на гитарах и гармошках, пьяные лежали навзничь, с открытыми ртами, старики читали газеты, парни бандитско-спортивного вида потягивали светлое пиво, перемешанное с солнышком. Как бывает всегда в России в момент судьбоносных пе-

реломов и всеобщих превращений, из всех человеческих лиц прямо и даже нагло выглядывали могущественные силы всех видов: лица святых и ангелов запросто проступали сквозь лица уродов и старух, и наоборот: вроде бы приличные люди сидели с лицами столь страшными, что на них не получалось смотреть. Один из бандитских парней уронил на золотое от солнца окно свою голову, насыщенную пивком, и лицо его приобрело завершенное выражение Будды, погруженного в нирвану.

В этой электричке, уже подъезжая к Москве, Настя и Тарковский съели свои бумажные квадратики.

Показ мод происходил почти в полной темноте, так как демонстрировалась одежда со светящимися элементами. Светящиеся короткие юбочки и топы, флуоресцентные рюкзачки, излучающие розовый свет или же зеленое свечение, напоминающее о таинственных болотных гнилушках. А также светящиеся заколки в волосах, легкие платьица, выглядящие как осыпанный светлячками куст, сумочки из прозрачной пластмассы с горящей лампочкой внутри, и прочее.

Выходя на подиум, окруженная людьми и темнотой, Настенька воображала, что она — на захваченном пиратами судне, ее пускают в море по доске (старинная пиратская казнь), она идет по этой доске, а вокруг и внизу черный всклокоченный океан, в котором среди волн блестят глаза русалок, в чье сообщество она готовится влиться. Или же она воображала, что она — хуй, который входит в темную и нежную пизду. Пиздой являлась погруженная во тьму публика. Настенька же, нарядная и напряженная, входила в нее, доходила до конца и возвращалась обратно, чтобы снова войти.

Туда — сюда — обратно,  
Тебе и мне приятно.

А отгадка — дефиле, — так частенько говорила Настенька. В создании «светящейся» коллекции она сама приняла некоторое участие. Во всяком случае, она воспользовалась моментом и осуществила свою давнюю мечту о платье из фильма «Сольерис» — с разрезом на спине, который словно бы сделали ножом, небрежно и неумело, вместо того разреза, который «забыл» изготовить мыслящий Океан. Лоскут испортого якобы платья висел вбок, обнажая спину и создавая драматический эффект. Платье было короче, чем в фильме, и оставляло на виду голые ноги, и к нему следовало носить массивные ботинки, в которых смешивалось нечто военное и грубое с чем-то девичьим и кокетливым: сбоку на ботинках светились розовым светом маленькие силуэты колибри в полете, а толстые подошвы оставляли на влажной почве следы босых ног (подошвы украшены были рельефными изображениями голых девичьих ступней).

В этом платье и в этих ботинках Настенька и оставалась на вечеринке, после того как закончился показ мод.

Диджей Вещь сменил за пультом диджея Шуку. Мир вещей словно пришел на смену миру рыб: в музыке, которую давал Шука, несмотря на всю ее резкость, присутствовали трансовые смягчения, текучесть и струи холодного водоема, тогда как диджей Вещь обрушил на танцпол жесткое техно, которое понравилось бы вещам: тайна подставок, несущихся в танце железных ключей, роботов и осколков, эта тайна здесь распахивала себя настежь.

Шука знал, что означает «живое и холодное», а Вещь, наоборот, разбирался в «неодушевленном и горячем». Иногда дело доходило и до «раскаленного». Настенька и Тарковский чувствовали и понимали эти нюансы очень хорошо, так как кислота (и прочее) уже начала действовать вполне. Они

скакали и прыгали, как заводные. Хохот распирает их изнутри.

Постепенно в вещах проявлялся свет, он зарождался в их сердцевине и затем разбежался по закоулкам танца. Казалось, не тела танцуют и гнутся, а промежутки между ними. Наконец, наступал момент, когда все девушки вскидывали вверх руки, ослепительная шаровая молния появлялась над их тонкими пальцами, и они перебирали пальчиками, щекоча брюхо грозы.

Тарковскому иногда казалось, что они с Настенькой остаются в танце одни. Он видел лишь только ее лицо в отсветах и бликах, ее личико, влажное, как в бане, бледное и нежное, с расширенными зрачками, волшебно блестящими, с приоткрытыми губами, с летящими прядями золотистых волос, личико изможденно-детское, вопросительное, плывущее. Тарковский посвятил всю жизнь свою любви, он не имел в жизни других смыслов. Теперь он видел, что любовь перестала быть состоянием, а стала живым существом — девочкой, проглотившей бумажный квадратик. Он чувствовал, что это существо, в которое он влюблен, наполнено странной силой, но это не мешало ему испытывать по отношению к ней резкую, почти мучительную жалость.

Вещь и Шука сошлись за пультом и теперь работали вместе. Маленький, наголо обритый Вещь остался в одних плавках, а все тело его было татуировано китайским ландшафтом с водопадами, горами и башнями созерцания. Шука, сутулый, худой, орудовал быстро, умело. Река и фабрика слились: словно бы потоп выбил фабричные окна, и вода хлынула, заливая работающие станки. Станки продолжали работать уже под водой, прилежно вырабатывая экстаз.

Настенька, оглядываясь в танце, видела вокруг себя лучи и лица. Кроме съеденного квадратика



Незаметно Настенька оказалась в чилл-ауте.

она отпила немного кетамина из бутылочки, спрятанной в секретном кармашке нового платья. И теперь на лицах танцующих не стало видно человеческих черт, эти вспыхивающие и гаснущие лица сделались мимолетными экранами, на которых проскакивали какие-то эпизоды, может быть даже фильмов, проскакивали с такой скоростью, что оставалось от них только ощущение, только привкус, быстро исчезающий.

Может быть, шериф умирал на закате, или золотое окно вдруг распахивалось, или человек бежал по крыше поезда, или девушка роняла с обрыва белую ленту, и она долго падала, провожаемая взглядами общества, которое собралось за чайным столом, чтобы отпраздновать праздник Чаепития На Обрыве. На ленте возникали имена — Лоране Киф, Уолпер Бизоньяс... Наверное, это были авторы фильма. А может быть, помощники осветителей или наладчики звука — кто знает? Горячий воздух дрожал над горбатым шоссе близ мексиканской границы, младенец кусал ухо пантеры. Толстая луна взбиралась по ветхой небесной лестнице, перебирая ногами, обутыми в едкие валенки.

И затем на все лег Солярис — загадочный жемчужный свет, закипающий Океан из фильма Тарковского, как будто снимали кипящий таз с мыльной водой, только и всего. Этот образ туманного Океана, состоящего из мыслящей плазмы, пронизал собой все помещение клуба, который называли в честь этого плазмодия. Незаметно Настенька оказалась в чилл-ауте. Она лежала и неслась над мыслящим Океаном, все быстрее и быстрее, в парах и музыке... Среди Океана, как маленький остров, виднелся бережно воссозданный кусочек дачного поселка Отдых: фрагмент забора, фрагмент сада, дорожки, сосны, дом Луговских. Илюшенька, маленький именинник, все еще сидел за

праздничным столом, и волосы его были унижены мелкими жемчужинами. Сестры Саша и Даша сосали друг другу смуглые локти в узкой дачной комнате. Аркадий Олегович изумленно стоял над осколками теплицы...

Зная, что в «Солярисе» все теряются, Настя и Тарковский условились в любом случае встречаться на рассвете на лодочной станции, недалеко от Лесной лаборатории. Так и случилось, что они потерялись. Настя где-то бродила, потом, кажется, уснула в каком-то из закутков клуба. Ее разбудили друзья, возвращающиеся на машине в «научную деревню». Было еще темно, когда она вышла из машины возле своего коттеджа. Автомобиль с друзьями уехал. Настя стояла одна на дачной улице, глядя на светящийся циферблат своих наручных часов. Определить время почему-то не получалось. Кажется, до условленной встречи с Тарковским оставалось еще два часа.

Ей захотелось в коридорчик с зеленой дверью. Она повернулась спиной к дому и пошла по направлению к санаторию. Санаторский парк встретил ее сдержанным блеском озера. Стоял «час нектара», предрасветный час. Любимое время магов.

В окнах процедурного отделения тускло горел неоновый свет. Дверь черного хода оказалась не заперта. Она поднялась по лестнице, где стояли железные ведра, помеченные красными буквами, и вошла в коридорчик, который любила. Здесь было, как всегда, спокойно и загадочно. В конце коридорчика светилась стеклянная дверь. Что-то нирваническое таилось в жужжащем свете за ребристым стеклом этой двери.

Настя присела на корточки у стены. Время исчезло. Осталось жужжание света.

Так сидела она долго. И вдруг за стеклянной дверью что-то появилось. Она никогда раньше не видела, чтобы в этом маленьком море что-либо появлялось. Появилось нечто красное. Точнее, красно-белое. Оно медленно приближалось, становясь отчетливее. Стало вдруг понятно, что это Дед Мороз. Он стоял, расплывчатый и приблизительный, как на голографической открытке. Но все было при нем — красный тулуп, отороченный белой ватой, такая же шапка, кушак, ватная белая борода и брови. В руках он держал мешок, оклеенный золотыми звездами.

Настя смотрела на это видение, решая, что это — реальность или галлюцинация. Затем стала медленно поворачиваться железная ручка на стеклянной двери. Она поворачивалась целую вечность, с легким звенящим скрипом. А коридорчик тихо стрекотал, как бы говоря: «Я тут ни при чем. Я не этот сюрприз готовил все эти годы».

Дверь открылась. Дед Мороз вошел в коридорчик и взглянул на нее светлыми глазами из-под ватных бровей.

— Здравствуй, внучка, — медленно произнес он, — здравствуй, Снегурочка. Вот мы и встретились.

Он сделал несколько шагов по направлению к ней, потом присел на ковер. Тихо кряхтя, оправил тулуп. Стало видно, что он собирается повести рассказ — неспешный и долгий, почти бесконечный. О себе, о войне, о всех своих волшебных приключениях. Он все вспомнил. Вспомнил в деталях, вплоть до мелочей, специально для нее.

Настя вдруг поняла, что происходит то, чего она ждала так долго — происходит ее встреча с душушкой-волшебником, с этим «мистером Х», который посылал ей загадочные письма.

Она легко встала и пошла, точнее, побежала к нему. Коридорчик был достаточно долог, чтобы

дедушка успел расплыться в улыбке, что раздвинула наливные щеки старика. И широко развести руки в толстых варежках, собираясь обнять свою внучку. Привстать он не успел, по-стариковски замешкавшись.

Почти добежав до него, она вдруг сильно оттолкнулась от пола и одним махом перепрыгнула через сидящего старика, оставив на его красном плече мокрый отпечаток босой девичьей ступни.

Она успела увидеть под собой его медленно запрокидывающееся лицо, древнее и доброе, в котором доброта быстро уступала место изумлению. Но она уже проскочила сквозь зеленую дверь и бежала по незнакомому коридору, и потом вниз по главной лестнице. Дверь главного входа была открыта: она толкнула ее, и уже бежала по аллее, под медленно светлеющим небом, и потом через лес, к реке.

Через несколько дней Настя и Тарковский выехали в Европу. Эта поездка давно готовилась. Они решили ехать поездом до Берлина, а оттуда двигаться на юг Франции или в Италию.

У них было уютное купе на двоих. Под вечер Тарковский уснул, а Настя вышла в тамбур. Тамбур наполнен был ветром. Железная дверь стояла распахнутая настежь. Настя подставила лицо ветру и смотрела на проносящийся лес.

Поезд стал замедлять ход. Закатное солнце золотило стволы, и они отбрасывали четкие тени в глубину леса. Лес в этих местах было то густой, спутанный и дремучий, то становился ясным и прозрачным, так что открывались его дальние планы, его кулисы. Настя разглядела вдалеке темную, почти черную избушку. Она виднелась далеко. В глубине леса. И закатный свет горел в ее оконце. Поезд вдруг остановился со вздохом. Солнце зашло. Настя увидела, что в окошке избушки есть и собственный свет — огонек. Избуш-

ка словно бы подмигнула ей из глубины леса. Настя легко спрыгнула на насыпь. Поезд за ее спиной снова вздохнул и медленно двинулся, постепенно набирая скорость. Пронеслись один за другим вагоны.

Настя быстро шла сквозь лес по направлению к Избушке.

*Закончено в Риме,  
1 января 2002 года*

Его нашли в кабинете застрелившимся. Он лежал на зеленом ковре, сжимая в руке пистолет. Кабинет, обставленный по его собственному желанию и вкусу, весь выдержан был в темно-зеленых тонах — плотные зеленые шторы прикрывали огромные окна, ковер приглушал звук шагов. По стенам стояли просторные аквариумы с подсветкой, но в них не было рыб — одни лишь водоросли и кораллы. Так желал хозяин кабинета. Висели также морские пейзажи в рамах, и на всех — только голое море и небо над морем: ни кораблей, ни морских сражений, ни мифологических сценок, ни рыбаков, чинящих сети... Лишь море в различную погоду, при разном освещении. Так нравилось тому, кто теперь лежал здесь мертвым. На письменном столе нашли записку — на листке бумаги размашисто написанные слова:

«Я больше не буду!»

Двусмысленность этой фразы заставляет задуматься. Поражает какая-то детская, просительная и жалобная интонация этой предсмертной записки. словно он натворил какую-то предосудительную мелочь, и теперь, перед лицом наказания, пытается по-детски отворотить его, обещая так больше не делать. Но что именно не делать? Имел ли он в виду какие-то плохие поступки, совершенные им? Возможно, именно чувство вины за эти поступки и толкнуло его на самоубийство? И он обещает впредь не совершать ничего подобного...



И он обещает впредь не совершать  
ничего подобного...

Или же само самоубийство и является той преступной шалостью, за которую он и просит прощения в столь детской и беспомощной форме: я больше не буду баловаться с пистолетом, и т.п.

Или, наконец, он просто сообщает, что он был, но больше его не будет.

«Меня больше не будет!» — возможно, так следует понимать это послание?

Или:

«Моего "я" больше не будет...»

Или:

«Я больше не буду быть...»

Словно кто-то может испугаться, что он еще вернется, что он еще «будет», и он вежливо заверяет всех, что этого можно не опасаться.

В любом случае человек этот выиграл или проиграл войну, затеянную им против самого себя. Этой войны больше не будет. Здесь, в комнате с зелеными аквариумами, несколько часов назад подписана капитуляция, заключен мир.

# ПРИЗРАКИ КОММУНИЗМА И ФАНТОМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Вот текст записки, датированной 1985 годом:

Приближается конец века, конец тысячелетия, так что не приходится удивляться большому количеству странностей: знамениям, космическим сюрпризам и тому подобному — все это постепенно становится частью нашей повседневной жизни. Каждый год приносит очередное оживление каких-то забытых моментов нашего бытия. Например, в этом году невероятно активизировались призраки. Необходимо отметить, что мучительно-героическая смерть, вообще подвиг, создает чрезвычайно питательную для появления призрака среду.

Напряжение подвига, нарастающее в героической личности до предельных масштабов, неизменно разрешается мощным прорывом, своего рода взрывом. Этот взрыв оставляет по себе не просто память, а большую «дыру», что называется «дыру в тканях бытия», через которую после исчезновения героя начинают «возвращаться» отражения совершенного подвига. Эти явления можно называть «эхом» ситуации.

Для этих «возвращающихся отражений» характерно отсутствие собственных целей. Они всего лишь воспроизводят силовые моменты ситуации.

Постепенно «дыра в тканях бытия», оставленная подвигом, зарастает, искажающее «эхо» героического поступка звучит все тише, а потом медленно (или, наоборот, внезапно) гаснет...

Вот примеры:

1. В одной деревне дети пошли в лес за грибами. Дело было летом. Ярко светило солнце. Внезапно мимо них, на расстоянии приблизительно 40 метров, прополз человек. Он полз сосредоточенно, глядя прямо перед собой, передвигаясь с помощью одних только рук, за ним волоклись какие-то длинные, полуистлевшие ремни. Дети заметили, что он одет в старый, почерневший от времени комбинезон и шлем с наушниками. Несмотря на летнее время и жаркую погоду, на голове, спине и плечах ползущего человека отчетливо виднелись большие куски снега и льда. Детей он не заметил.

В последующие несколько дней и другие местные жители имели возможность видеть его. Постепенно стали его бояться, появились рассказы, что он нападал на детей, собирающих грибы, душил их своими парашютными веревками, высасывал кровь. В деревне его прозвали «Настоящим Человеком». И действительно, по всем описаниям вид его действительно совпадает с образом летчика Мересьева, героя книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».

По утверждениям деревенских стариков, увидев его, необходимо троекратно перекреститься и сделать пальцами такое движение, как будто «солишь землю», произнося при этом:

Настоящий Человек,  
Ты не тронь меня вовек!  
Посолю тебе супок —  
Улетишь как голубок.  
Посолю тебе еду  
Прямо к Страшному Суду!

2. Несколько детей купались в Урале. Один мальчик заплыл очень далеко. Вдруг он страшно закричал. Поглядев вниз, в воду, он увидел, что со дна к нему с огромной скоростью поднимается человеческое тело с запрокинутой головой. По его словам, он мог разглядеть сквозь толщу воды только обращенное вверх лицо с широко раскрытыми иступленными глазами и длинными, облепленными водорослями, усами. В следующий момент он почувствовал, как чья-то сильная рука схватила его за лодыжку и повлекла в глубину. Крики тонущего ребенка услышали на спасательной станции, которая, к счастью, находилась неподалеку. Была немедленно выслана моторная лодка. Мальчика удалось спасти. Люди, находившиеся в лодке, утверждали, что при приближении к месту происшествия они видели, как от наполовину захлебнувшегося ребенка отделилась в воде какая-то темная масса, контурами напоминающая человеческую фигуру, и быстро ушла на дно. Остается добавить, что именно на этом месте, по преданию, утонул раненый Чапаев.

Говорят, что призрак Чапаева появляется там не в первый раз. Обычно он пытается утянуть на дно купающихся детей, но из воды никогда не выходит. Купание в этом месте считается небезопасным и для взрослых. Зафиксировано несколько случаев, когда люди там тонули без всяких видимых причин.

В прибрежных кустах можно кое-где обнаружить приколотые на ветках узкие полоски бумаги с заклинанием:

Чапай, Чапай,  
Нас не замай.

3. В районе Владивостока на железнодорожных путях появляется в последнее время так называе-

мый «вагон Лазо». Это движущийся с большой скоростью, без машиниста, паровоз с докрасна раскаленной топкой. Из топки слышится мужской голос, выкрикивающий проклятия и ругательства. Путьцы и железнодорожники Приморского края считают появление этого «вагона» дурным предзнаменованием, предвещающим обильные снегопады, столкновения и заторы на железнодорожных путях.

4. Большую тревогу у водителей автоколонн вызывает наблюдаемый в последнее время «феномен Гастелло». В ясную погоду над двигающимися по шоссе автоколоннами несколько раз появлялся маленький, горящий, ярко-серебристый самолет. Свидетели утверждают, что смотреть на него было почти невозможно, такое он излучал резкое серебристое сияние.

Совершив несколько кругов над автоколонной, самолет обычно круто планировал вниз, с нарастающим ревом налетал на головную машину и, не долетев несколько метров, исчезал со звуком оглушительно сильного хлопка. Чрезвычайно опасный «феномен Гастелло» привел уже к нескольким крупным авариям, заторам на дорогах и серьезным нарушениям в нормальном функционировании автомобильного транспорта.

Мересьев (или Маресьев) - советский военный летчик-ас времен Великой Отечественной войны. Сбитый немцами в воздушном бою над лесом, он спасся из горящего самолета с помощью парашюта и, тяжело раненный в ноги, долго полз сквозь лес с помощью одних только рук, прежде чем добраться до советских позиций. Ноги его были затем ампутированы советскими хирургами, но Мересьев с помощью протезов научился летать на военных самолетах и стал опять участвовать в воз-

душных битвах. Его история описана в романе Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», по этой книге был снят одноименный фильм, а Сергей Прокофьев написал музыку к опере с тем же названием.

Чапаев Василий Иванович — во время Гражданской войны легендарный командир конной дивизии Красной Армии, прославившийся многочисленными победами. Попал в засаду, устроенную белыми, пытался спастись, переплывая Урал, но был ранен выстрелом с берега и утонул. О нем снят фильм «Чапаев», породивший невероятное количество анекдотов.

Лазо — комиссар Красной Армии на Дальнем Востоке. Захвачен в плен японцами и сожжен в топке паровоза.

Гастелло — советский летчик-камикадзе времен Великой Отечественной войны. Во время одной из воздушных битв его самолет был подбит, и тогда Гастелло впервые применил воздушный таран — он пожертвовал жизнью, врезавшись в автоколонну немецких войск.

Вышеприведенный текст был составлен в 1985 году в качестве отчета о результатах одной экспедиции, предпринятой с целью исследования мифов и легенд, бытующих в российской глубинке. Членов экспедиции особенно интересовало то, что они называли «советской демонологией», то есть стихийная жизнь образов, порожденных коммунистической властью, и появления этих образов в новейшем народном фольклоре в качестве «демонов», «призраков», «нечистой силы» и т.д.

В экспедицию вошли этнологи, этнографы, исследователи фольклора, психологи, деятели куль-

туры и науки, но поскольку экспедиция не была официально санкционирована, отчет о ней решили составить в форме краткой записки, избавленной от академических условностей.

Название «призраки коммунизма» вызывает некоторые вопросы: ведь речь в записке идет не столько о призраках самого коммунизма, сколько о призраках защитников коммунистического государства, о тенях, оставленных в коллективном воображении этими отважными воинами, «стражами коммунизма», его героями и мучениками.

Как бы там ни было, в 2005 году, двадцать лет спустя после вышеупомянутой экспедиции, решили предпринять еще одну, примерно по тем же местам, чтобы выяснить, тревожат ли, как прежде, жителей этих мест призраки коммунизма, и в какие формы облакаются ныне древние извечные страхи.

За истекшие двадцать лет в нашей стране и во всем мире произошли глубокие изменения — многое появилось, другое забылось. Сегодня молодой читатель может и не понять (без особых пояснений), кто такие Мересьев, Лазо, Гастелло... Чапаева, правда, еще помнят, благодаря анекдотам и фильму.

Экспедиция 2005 года не обнаружила никаких следов «призраков коммунизма». Во всех местах, где они когда-то являлись, старожилы в один голос утверждают, что уже много лет их не видно. Какое-то время после распада Советского Союза они еще появлялись изредка, но становились все слабее, все неувереннее... Потом совсем исчезли.

Однако на их место пришли другие призраки — не менее опасные. Экспедиция 2005 года обозначила их как «фантомы глобализации». По традиции составлена была записка, где описываются четыре таких «фантома» — по аналогии с четырьмя «призраками коммунизма»: Мересьевым, Лазо, Чапаевым, Гастелло.

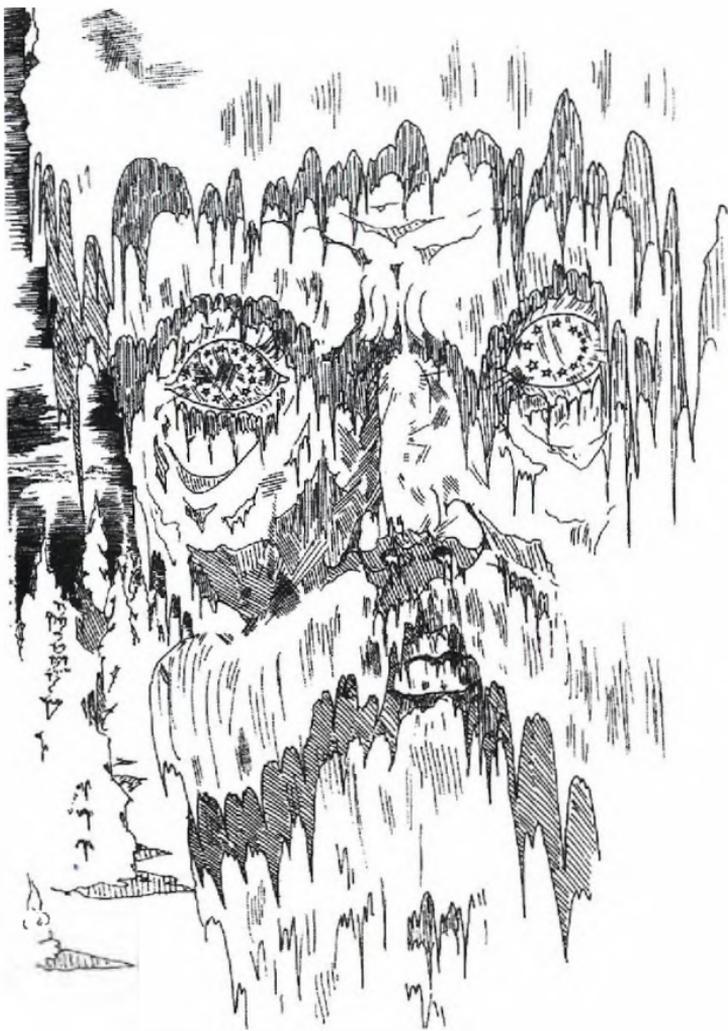
Итак, вот четыре примера фантомов, зафиксированных в нынешнем году. Обращает на себя внимание, что (в отличие от «призраков коммунизма») эти фантомы не нуждаются в человеческом облике. Они не антропоморфны.

### 1. Звездный Круг (Звездный Хоровод, Единая Европа).

Опасен зимой, в морозные, ясные ночи, когда внезапно появляется в небе над одиноким путником. Имеет вид двенадцати ярких переливающихся светом звезд, образующих ровный круг. В некоторых местах люди в такие ясные зимние ночи боятся смотреть на небо, чтобы не увидеть ЗК. Считается, что человек, увидевший в небе Звездный Круг, застывает и не может пошевелиться, очарованный красотой этого небесного явления. Люди смотрят, не в силах отвести глаз от ЗК, и в результате замерзают. В деревнях рассказывают, что таких замерзших находят потом в виде обледенелых истуканчиков — они стоят с запрокинутыми к небу лицами, а в их замерзших зрачках ясно виднеется застывшее отражение Звездного Круга.

В некоторых уголках России защитой от Звездного Круга считаются матерные слова. Говорят, что люди, прошептавшие матерное слово в момент, когда они увидели ЗК, не попадают под его власть и остаются в живых.

### 2. Мировая Паутина (Сеть Мировая) — опасна в лесах, жертвой ее часто становятся охотники, туристы. Одинокий путник или охотник, идущий лесом, вдруг замечает на траве, на стволах деревьев странную паутину. Она светлая, серебристого оттенка, как бы седая. Постепенно ее становится все больше, она полностью покрывает ближайшие деревья, тропу, землю... У путника начинает замутняться сознание, волна липкого бреда исходит



В некоторых уголках России защитой от Звездного Круга считаются матерные слова.

от этой Паутины Без Паука. Человеку кажется, что весь мир уже опутан этой седой сетью. Человек пытается спастись бегством, но Паутина (невероятно липкая и цепкая) уже охватила его ноги, сербристые клейкие нити падают с ветвей, быстро оплетают жертву..

В деревнях встречаются люди, утверждающие, что им удалось спастись от напавшей на них Паутины. Кого спасла молитва, кого поток водки из фляги, кого острый охотничий нож, заговоренный опытным шаманом...

Одного браконьера спасла якобы даже противотанковая граната, с помощью которой он собирался глушить рыбу в глухом лесном водоеме. Увидев, что вокруг все заплелось и светлая липкая сеть уже подползает к его ногам, этот человек сорвал кольцо и бросил гранату в чашу, после чего упал и вжался в землю. Рвануло, полетела земля, ветви... Паутина исчезла.

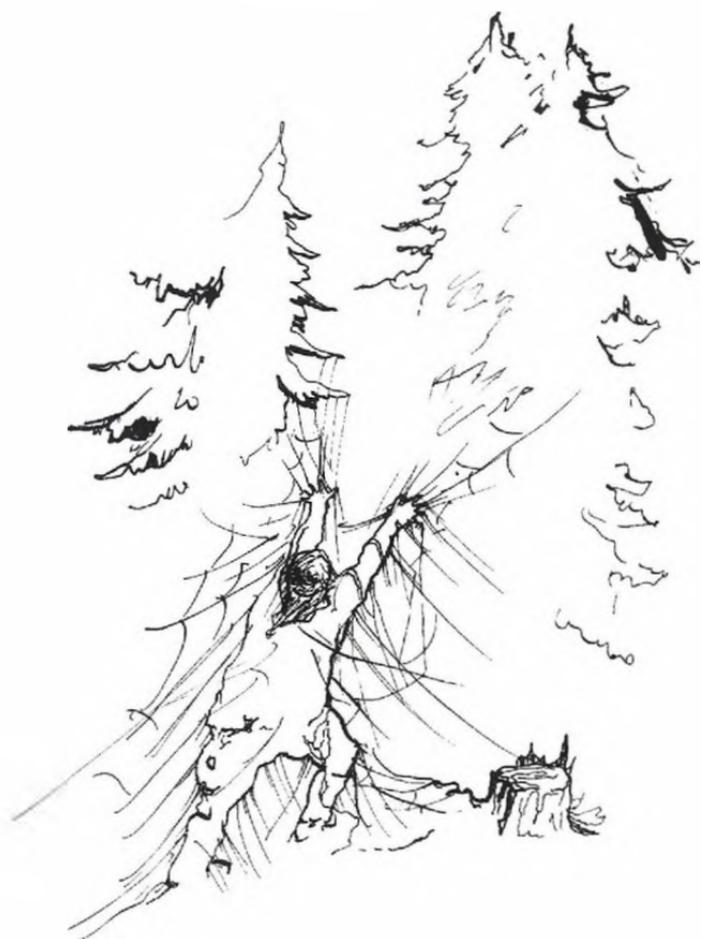
Эти спасшиеся от Паутины утверждали, что она слегка светилась (особенно если человек попадал в ловушку ночью) и по ее нитям пробегали как бы огоньки различных оттенков. Другие говорят, что слышали «голос Паутины» — тихий, чмокающий шепот, напевающий «Я охватила весь мир. Все во мне. Я исполню все твои желания. Вплетайся, я подарю тебе время».

Говорят, что если человеку не удастся вырваться, Паутина мгновенно высасывает его — находят потом в лесу только пустую одежду, покрытую клейким седоватым налетом.

Увидев такой налет на одежде исчезнувшего, знающие люди покачивают головами:

Здесь поработала Паутина.

3. Макдоналдс-призрак. Опасен для автомобилистов, путешествующих на большие расстояния, дальнбойщиков и т.п. Появляется ночью на



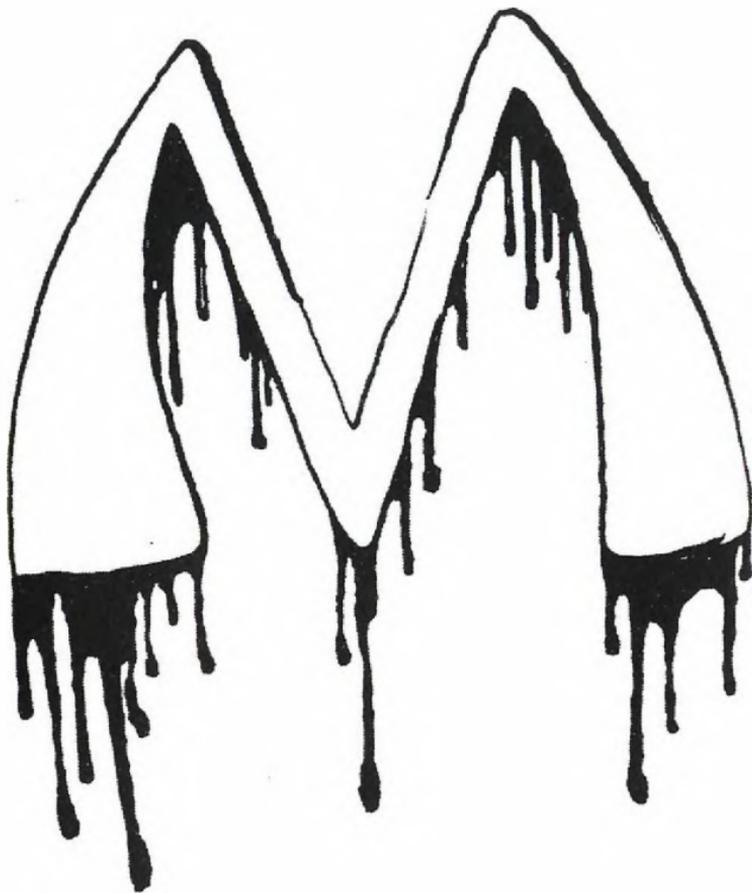
Здесь поработала Паутина.

шоссе, проходящих по глухой и безлюдной местности. Усталый водитель вдруг видит на обочине дороги приветливо светящийся Макдоналдс. Как поется в песне:

Всю жизнь глядясь в ночь  
 Усталые глаза —  
 В пути шофер-дальнобойщик...  
 Он знает лучше всех,  
 Он может рассказать,  
 Что наша жизнь — шоссе,  
 Шоссе длиною в жизнь.

И тут эта жизнь-шоссе может прерваться. Усталый водитель тормозит у Макдоналдса, заходит внутрь. Посетителей нет, пусто, светло, нарядно, только обычные тинейджеры-официанты кое-где скользят между столиками в своих вишневых пилотках и форменных полосатых фартучках. Приветливый дизайн, как и во всех Макдоналдсах, расслабляет, напоминая о школьных праздниках — гирлянды, детские пластмассовые столики, бумажные флажки... Водитель заказывает еду и питье — что-то из стандартного макдоналдсовского набора: гамбургер, чизбургер, филе о'фиш, картошка фри, мак наггетс, кофе в картонном стаканчике, кока-кола, апельсиновый сок, пирожок с вишней... Почему во всех Макдоналдсах мира на десерт подают пирожки с вишней? Почему работающие здесь подростки одеты в вишневые униформы? Цвет вишни это цвет старой венозной крови, которая еще не прошла очищение сердцем...

Живыми отсюда выходят только те посетители, у которых на груди висит святой крест. Спасают, впрочем, и знаки других религий — медальоны с цитатами из Корана, иудейская звезда Давида, буддийский вензель Ом... Самое странное, что одного шофера спасла салфетка с буквой «М», при-



Живыми отсюда выходят только те посетители,  
у которых на груди висит святой крест.

хваченная им с собой в предыдущем Макдоналдсе — эта салфетка случайно вывалилась у него из кармана, и хотя по виду она ничем не отличалась от салфеток Макдоналдса-призрака, все равно «подростки» побелели как известь, лица их постарели, они встали как вкопанные, девочка-официантка выронила из рук поднос с заказанной едой и из большого стакана с кока-колой разлилась по полу кровь...

Один водитель, человек верующий, но застенчивый, перекрестился перед трапезой, украдкой засунув руку под свитер, — и тут же страшное превращение пронеслось по всему кафе: стены и потолок оказались забрызганы кровью, лица так называемых «подростков» смертельно осунулись, глаза зажглись красными огоньками, рты оскಾಲились клыками...

Водитель бежал и унесся в своей машине, то и дело осеняя себя крестным знаменем и шепча молитвы.

Если же кто съедал хотя бы кусочек еды, подаваемой в Макдоналдсе-призраке, если делал хоть глоток кока-колы — находили его в этом месте МерфВвiM. Как правило, поутру обнаруживали труп, лежащий на обочине дороги, в кювете или в придорожных кустах, неподалеку от припаркованного автомобиля.

Самого же Макдоналдса-призрака и след пропал — он исчез, чтобы объявиться потом в другом месте, на другом шоссе.

4. Глобо, или Единый Мир. Его еще называют Антиколобок или сокращенно Антиколоб. Но мы будем называть его Глобо.

Деревенские бабки и старики, рассказывающие сказки детям, говорят, что этот Колобок-мутант, который где-то попал под облучение или оказался в зоне испытательного взрыва тайного



...но напавший на него не был живым  
человеком, в нем не было крови...

оружия, или инопланетяне пошутили над ним. Неизвестно, что с ним произошло, но он превратился в живой глобус. Ох, не любят они, некоторые инопланетяне, нашу матушку Землю, но убить ее пока не могут — Господь не дает (так говорят старики и старухи).

Глобо — это достаточно крупный шар, ростом с девятилетнего ребенка, перемещающийся самостоятельно, способный катиться с огромной скоростью. На его поверхности видны материки, океаны, реки, очертания островов, искорками мерцают города, все переливается, живет, тонкий облачный слой вьется вокруг шарообразного тела. Никаких границ между странами не видно — Единый Мир.

Но Единый Мир (сокращенно ЕМ или Глобо) — это хищный убивающий фантом, не менее опасный, чем все вышеописанные. Особенно часто нападает на детей, собирающих в лесу грибы или ягоды. Выследив ребенка, он неожиданно накатывается на него и сбивает с ног, причем изнутри его тела доносится крик:

**- Я К ДЕДУШКЕ ПРИШЕЛ! Я К БАБУШКЕ ПРИШЕЛ! И К ТЕБЕ ПРИДУ!**

С этим криком он прижимает жертву к земле и высасывает всю кровь...

Для этого ему не нужны ни зубы, ни рот, ни хоботок — он может с поразительной скоростью высасывать кровь любой точкой своего тела.

И что делает этот фантом особенно страшным, от него не спасают никакие молитвы и заклинания. Говорят, что если уж накатил Единый Мир, то ничего не спасет. Впрочем... вот рассказ одного лесничего.

Лесничий Кольцов совершал обход своего участка леса. День был летний, погода ясная, жаркая. Лесничий присел отдохнуть на поваленный ствол,

закурил. Мимо него прошла девочка лет девяти, в белом коротком платье, с корзинкой и песенкой. Он долго прислушивался к ее удаляющейся песенке, но вдруг песенка оборвалась, и лесничему показалось, что до него донесся какой-то вскрик... Лесничий поспешил туда. Выйдя на полянку, прогретую солнцем, лесничий застыл как вкопанный — посреди поляны лежала без сознания девочка в растрепанном белом платье, рядом валялось опрокинутое лукошко и рассыпавшиеся грибы, а на ее теле восседал Глобо. Видимо, она пыталась бежать, но споткнулась и потеряла сознание. Глобо прижал жертву к земле, не торопясь, предвкушая пиршество. Он вертелся на девочке, посвистывал, напевал песенку «Я к дедушке пришел» или «Я - мир без границ, я безграничен, от меня не укрыться...!» и, плотоядно сглатывая, бормотал: «Гл.. Гл.. Глобо... Глобик... Глобо-тряс... Глобок... Глобация...»

Лесничий стоял, парализованный ужасом, у него была с собой двустволка, но он знал, что Единый Мир пули не берут, разве что серебряные. А их у него в патронташе не было...

И вдруг что-то стелящееся, серое, грязное метнулось из травы и со страшным полусвистом-полустоном бросилось на Глобо. Это был вроде бы человек — облепленный какой-то зимней грязью, чуть ли не с кусками серого снега на голове. Кажется, на нем был старинный летчицкий шлем с треснувшими очками и какие-то гнилые ремни и веревки тащились за ним, волоча сквозь траву черные ошметки как бы парашюта... Лицо у него было зеленоватое, мертвенное, страшно изможденное — он бросился на Глобо, обхватил его руками, впился зубами в поверхность. Глобо завизжал, от визга его съезжились листья на соседних деревьях, стал вертеться, вырываться. Он пытался высосать из своего врага всю кровь (как привык делать

со своими жертвами), чтобы потом изbleвать ее черными, едко пахнувшими пятнами, похожими на пятна нефти, но напавший на него не был живым человеком, в нем не было крови.

С трудом, как сквозь толстый лед, лесничий узнал и припомнил образ Настоящего Человека, давно забытого призрака, о котором он слышал в юности. Лет пятнадцать не видали Настоящего Человека в этих краях.

Драка призраков все длилась. Боролся ли Настоящий Человек за добычу или вдруг решил спасти девочку — неизвестно. Рядом с местом схватки росла старая осина — Настоящий Человек вдруг метнулся, с неожиданной силой вырвал из осины острый сук и вонзил его глубоко в пухлое тело Единого Мира.

В этот момент Единый Мир издал такой пронзительный, такой долгий и леденящий душу вопль (нечто среднее между визгом убиваемой свиньи и свистом гигантского проколотого мяча), что трава по всей поляне умерла и почернела, синее небо на миг посерело, а лесничий, которому не было и тридцати пяти лет, стоял с белой головой — за секунду он стал седым.

Единый Мир сжался, съезжился, превратился в бесформенный комок. Как брошенное в огонь письмо, он корчился и сжимался, становился все чернее и меньше... и вдруг исчез, развеявшись вонючим пеплом... Визг-свист его оборвался.

Он съезжился так молниеносно, что Настоящий Человек потерял равновесие, упал на исчезающего врага и в грудь его глубоко вошел другой конец осинового сука. Он тихо, почти по-человечески, застонал, измученное лицо его вдруг стало на миг блаженным, неопишное облегчение отразилось на этом лице — и он тоже исчез.

Не осталось никого — ни Единого Мира, ни Настоящего Человека, только девочка в белом



Эта эпидемия докатилась даже до районного центра, и там, говорят, устроили целый костер из глобусов...

платье лежала без сознания, распростертая в сухой траве.

Лесничий взял ее на руки и принес в деревню — там она вскоре пришла в себя. Лесничий после этого случая запил и немного обезумел: он подначивал народ по всей округе ночью врывать в сельские школы и справляться с глобусами, живущими в географических кабинетах — их и жгли, и пробивали осиновыми колами... Эта эпидемия докатилась даже до районного центра, и там, говорят, устроили целый костер из глобусов...

А девочка, хоть и рассказывала охотно как бежала от Глобо по лесу, как он настиг ее, не казалась особо травмированной пережитым ужасом. Была она беспечна, пела русские и интернациональные песни, услышанные по радио и по MTV, играла в прятки и водила хороводы с подружками, бегала на реку купаться, а в сумерках плела над рекой венки. Вдыхала сладкий дым костра и слушала сказки.

Дай-то Бог, чтобы и душа нашей страны столь же легко перенесла встречу с Глобо.

1985-2005

Шла война, но маленький южный приморский город она не затронула до того дня, когда пришла весть, что приближается неприятельская эскадра. Весть эта застала всех врасплох. В городе, кроме регулярного гарнизона, недавно расквартировали артиллерийский полк, но произошло это только что, орудия еще не все были доставлены, ничего не было толком готово к обороне. Тем не менее, все закипело, набережные обкладывали мешками с песком, добровольцам выдавали старые ружья, а артиллеристы устанавливали пушки и оборудовали огневые точки. Все орудия развернуты были в сторону моря, а оно, огромное и синее, еще не знало, что его безмятежный и прозрачный простор стал для жителей городка знаком надвигающейся угрозы.

Молодой артиллерийский офицер Ершов был среди тех солдат и офицеров, что суетились на набережной, расчехляя орудия. Вообще-то он состоял адъютантом при полковнике Анисимове, но полковник с утра не появлялся, никаких поручений не давал, поэтому капитан Ершов занимался тем, чем занимались все, когда возле него затормозил военный автомобиль, выкрашенный в защитные цвета. В автомобиле сидели трое офицеров, среди которых Ершов узнал генерала Ладенникова, вчера назначенного генерал-комендантом.

— Где Анисимов? — раздраженно спросил генерал-комендант. — Мы его ждем.

— Не могу знать, — Ершов отдал честь. — Сегодня не появлялся.

— Где он живет? Он нужен срочно.

— Полковник Анисимов живет в отеле «Турин», — Ершов махнул рукой вверх, где белелось узкое и пышное здание с маленьким садом на крыше.

— Вот что, капитан. Вы — в автомобиль и разыщите Анисимова. Срочно пусть прибудет в штаб. У него все бумаги по орудиям, по расчетам и по железнодорожному составу.

Они уехали. Ершов сел в двухместный военный автомобиль и по крутой и кривой улице подъехал к отелю «Турин». У входа стояли чемоданы, люди и автомобили — кто-то собирался срочно покинуть город, кто-то кого-то разыскивал, офицеры, размещенные в номерах отеля, постоянно входили и выходили с деловым и озабоченным видом. Внутри все было наполнено телефонными звонками, громкими голосами, топотом и суетой. На месте портье сидел человек в военной форме, прижимающий к уху телефонную трубку. У стойки толпились люди, и Ершову пришлось грубо растолкать их, чтобы спросить: у себя ли полковник Анисимов.

— Его нет.

— Я его адъютант. Он нужен в штабе срочно. Где его разыскать?

— С утра отбыл.

— Куда? Как?

— Не имею понятия. За ним заехала дама в открытом автомобиле и они уехали.

— Была ли с ним папка или портфель? Темно-красный, кожаный, с медными замками.

— Не заметил. Что-то в руках у него было. Возможно, коробка.

— Имею приказание осмотреть его номер.

— Номер пятьдесят восьмой. Люкс, — офицер протянул ключ.

Номер пятьдесят восьмой оказался просторный, с окнами на море, совершенно наполненный светом. На огромной двуспальной кровати лежал выглаженный мундир полковника, светлый и праздничный, как и все в этой комнате. В хрустальной пепельнице остался холодный окурок сигары, на ковре стоял распахнутый чемодан, в котором ничего не было, кроме двух белых рубашек и плоской коробочки с леденцами. Ни портфеля, ни папки, ни военных бумаг Ершов не нашел. Он подошел к телефону, имеющему вид русалки с ракушкой, набрал телефон штаба.

— Литовцев слушает, — сухо сказали в трубке.

Ершов доложил, что Анисимова в «Турине» нет, отбыл с утра, бумаги забрал с собой, говорят, за ним заехала дама в открытом авто.

— Дама? — переспросили в трубке.

На другом конце провода совещались. Иной голос, не представившись, спросил Ершова:

— Дама была за рулем?

— Да, насколько я понял.

Снова молчание и звук переговаривающихся голосов.

— Вот что, капитан, поезжайте на виллу Бетельгейзе, улица Сезонная, 8. Посмотрите, нет ли там Анисимова. Спросите, был ли он там. Когда приехал, с кем. Когда отбыл, куда. Все расспросите подробно. Если там работает телефон, позвоните оттуда сразу же. Если связи нет, возвращайтесь в штаб. Все.

Трубку положили.

Для того чтобы оказаться на улице под названием Сезонная, Ершову снова пришлось ехать наверх по крутым улочкам, которые чем выше, тем становились сонливее и безлюднее. Пришлось петлять и спрашивать дорогу у прохожих, пока он не оказался на этой улочке. Она оправдывала свое

название, была застроена дачами, которые скрывались в темных садах за каменными заборчиками из ракушечника, за кипарисами и узорчатыми калитками. Ершов оставил машину у одной из этих калиток с большой металлической цифрой восемь, которая склонилась набок и почти превратилась в знак математической бесконечности.

Под восьмеркой нарисован был рыцарь. На рыцарском щите изъеденные ржавчиной готические буквы складывались в слова: «вилла Бетельгейзе», но прочесть удавалось с большим трудом. Только буква «В» — огромная и представляющая из себя сложный вензель сохранилась во всем своем великолепии. Кажется, эту букву недавно подновили темно-красной краской.

Ершов толкнул калитку — она оказалась не заперта. Длинная кипарисовая аллея вела в глубину сада, Ершов пошел по ней, сопровождаемый двумя бабочками-лимонницами, что все порхали над его правым плечом, над погоном — то ли привлеченные золотым отблеском, то ли просто так. Красный гравий поскрипывал под его начищенными сапогами, птицы перекликались друг с другом, иногда резко кричала чайка, делая большой круг над садом — за голосами птиц вставала нагретая, глубокая тишина старого дачного сада, огромного, запущенного, возможно, запущенного вовсе не по небрежности, не исключено, что то был изначальный умысел и цель этого сада — стать якобы запущенным, чтобы за абсолютной прямой аллей сплелись горячие и таинственные заросли, чтобы в можжевеловых гротах прятались мраморные чаши, якобы упавшие сюда с неба, вывалившись из рук богов, ослабевших от блаженного опьянения нектаром облаков — поскольку эти чаши упали отсюда с такой огромной ледяной высоты, то вошли более чем наполовину в рыхлую землю, а на тех их частях, что еще подда-

вались осмотру во время прогулки, виднелись еле заметные оттиски небесных снежинок. После жарких пыльных улиц, после разгоряченного металла автомобиля, после военной суеты — влажная тишина и прелесть этого сада надвинулись на капитана Ершова и околдовали его. В конце аллеи он наконец увидел дом — большую виллу в готическом духе: половина этой дачи сильно обветшала, когда-то прекрасные витражи веранд (которые умели превратить простой дачный обед в секретную мессу, совершаемую в капелле замка) обильно потрескались и, там и сям, обнаруживали в себе оскольчатые прорехи, за которыми гнездилась неряшливая темнота. Но другая половина дома приведена была не так давно в порядок (видно, у кого-то не хватило средств или желания приобрести виллу Бетельгейзе целиком, и купили половину): все было свежевыкрашено, пристроена огромная веранда в современном духе, в виде простого стеклянного куба с цельными окнами, куда могли без помех вторгаться свет и красота дней, не искажаемые романтическими коварствами витражей и других странностей и причмокиваний старины. Ну, конечно, старина еще причмокивала на другой стороне виллы, она еще бормотала о своем, но, судя по яркому свету, пронизавшему новую веранду, никто к ней более не прислушивался. Внутри стеклянного куба виднелся интерьер мастерской художника, а может быть, и скульптора — большие столы, верстаки, мольберты, невнятные контуры лепных фигур. Все это стояло немногочисленное, разреженное, и через всю эту стеклянную мастерскую хорошо виден был синий бассейн по другую сторону дома, белые шезлонги возле бассейна и большая белая шляпа какого-то животного существа, что сидело в одном из шезлонгов.

Ершов обошел мастерскую, заглянув в нее (живых фигур он там не приметил, одни лишь за-

родыши скульптур), и подошел к бассейну. У этого прямоугольника синей воды он увидел девушку, которая сидела спиной к дому в огромной белой шляпе и рисовала. На ее купальнике изображены были осы и осиные полосы, возле ее шезлонга стояла наполовину опустошенная бутылка виски, длинный стакан с кубиками льда и две половинки грейпфрута. А также коробка акварельных красок, кисточки, ванночка с акварельной водой. Она рисовала море на ватмане, глядя на него сквозь широкий просвет между кипарисами, откуда открывался превосходный, запахнутый во все стороны вид на бухту. Девушка рассеянно взглянула на офицера сквозь стекла солнечных очков и ничего не спросила.

— Я разыскиваю полковника Анисимова, — произнес Ершов.

— Он уехал, — был ответ.

— Он был здесь? Когда, с кем? Мне нужно срочно разыскать его. Его ждут в штабе.

Девушка небрежно пожала худыми блестящими плечами. Она была загорелой, сублильной.

— Он уехал с моей сестрой. А вы кто?

— Я его адъютант, капитан Ершов. Генерал-комендант приказал мне срочно разыскать полковника и доставить его в штаб. Его там все ждут. Я был в отеле «Турин», искал его везде...

— А его все ищут везде, — сказала девушка, — такой уж человек. Отвратительный человек, михоходом. А меня зовут Лиза.

— Очень приятно, Лиза. Мне необходимо знать, куда уехал полковник Анисимов с вашей сестрой, куда и по какому делу? Как зовут вашу сестру? Был ли у него с собой портфель?

— Куда уехали, не знаю. Они со мной не разговаривают. Сестру мою зовут Оля, а фамилия наша Туборг. Оля и Анисимов любовники уже два года, и стыда у них нет, как говорит наша мама. Портфель, возможно, у него был, впрочем, не помню.

— Это ваша дача?

— Этот дом построил мой дядя Олаф. Он скульптор, художник. Мы с сестрой жили здесь в детстве, а потом нас увезли. Теперь мы с ней снова здесь вдвоем, одни, хотя больше не дружим. Они с Анисимовым затеяли против меня войну. Военные действия против меня. Кстати, о войне: когда прибудет вражеская эскадра?

Она указала на пустое море. Бассейн и площадка вокруг чем-то напоминали театральный партер, темно-зеленые большие кипарисы походили на раздвинутый театральный занавес, а море в широком просвете между деревьями казалось сценой, на которой пока что ничего не происходило.

— Не знаю, — Ершов пожал плечами. — Мне нужно найти Анисимова. Здесь есть телефон?

— Подождите минутку. Вы ведь артиллерист?

— Так точно.

— Взгляните сюда, — Лиза показала ему свой рисунок, сделанный яркой акварелью, — он был еще свежим, влажным. — Это наша бухта. Они войдут отсюда, — Лиза концом кисточки провела еле заметную черную стрелку над краем нарисованного яркого моря. — А вот здесь, на мысе Белый, вам бы очень не помешало поставить орудия. Хотя бы несколько, пока еще есть время. Вы бы встретили их достойно уже на входе в бухту, — она нарисовала крошечный крестик над силуэтом мыса, который на рисунке оставался полупрозрачным розовым пятном.

— А вы, я вижу, военный стратег. Чувствую себя, как будто я уже в штабе. Приятно слышать такое от... сколько вам?

— Шестнадцать, но это не имеет значения. Идите сюда, — она легко выскочила из шезлонга, оставив в нем шляпу и рисунок, и пошла к тому месту, где деревья расступались. Ее узкие босые ступни оставляли влажные следы на белом горя-

чем камне, но следы эти сразу же исчезали. Волосы у нее были мокрые, темные. Ершов последовал за ней — они стояли на большой естественной террасе над городом, внизу Ершов увидел крыши (прямо под ними зеленел квадратик сада на крыше отеля «Турин»), набережные, порт, волнорезы...

— Видите, какое место. Отсюда лучший вид на бухту, она как на ладони. Отчего бы вам не поставить здесь пушки, на случай, если корабли подойдут близко?

— Да, пара дальнобоечек здесь не повредит, — прищурился капитан. — Однако мне нужно позвонить.

Она проводила его в дом, в комнату, имевшую вид кабинета, где стоял телефон. Ершов позвонил в штаб, доложил генералу Литовцеву, что Анисимова на вилле не обнаружил. Добавил, что место здесь для огневой точки очень неплохое, и пару дальнобоечек он бы сюда поставил.

— Я знаю. Только что звонил полковник Анисимов и об этом упомянул. Он, оказывается, на вокзале. Состав, наконец, подошел, который мы уже устали ждать... Анисимов вам передает, чтобы вы оставались на вилле и ждали его. Он прибудет и, возможно, с орудиями... Ждите, капитан, — Литовцев положил трубку.

— Ну что? — Лиза Туборг стояла посреди скульптурной мастерской на одной ноге, другой упираясь в некое подобие черного базальтового снеговика — он был массивный, без метлы, без ведра, без морковного носа...

— Ваши приказания исполняются, — сказал Ершов, — скоро прибудет Анисимов с пушками, будем отсюда стрелять по морю. А вам с сестрой следовало бы уехать куда-то в более безопасное место. Надеюсь, полковник позаботится о вас.

— Я лично не собираюсь принимать никаких забот от полковника Анисимова. Желаете глоток виски на добрую дорогу?



Взгляните сюда, - Лиза показала ему свой рисунок, сделанный яркой акварелью, - он был еще свежим, влажным.

— Мне приказано оставаться здесь.

— Да? Это даже хорошо: я покажу вам сад и дом. Это очень необычные сад и дом, вы таких еще не видели. На первый взгляд они выглядят занудными, но это только на первый взгляд. Наш дядя задумал их как две волшебные шкатулки, как две тайны. Ключ к тайне дома спрятан в саду. Ключ к тайне сада находится в доме.

— Боюсь, мне не следует удаляться от телефонного аппарата. Покажите мне дом, в саду мы не услышим звонка.

— Хорошо. Но вы, правда, не поймете ничего в этом доме, не увидев сад. Впрочем, война важнее. Так и быть, пойдете.

Она повела его по дому, показывая комнаты. Дом оказался затейливым, местами напоминал музей, но Ершов невнимательно рассматривал произведения искусства, книги, витражные дверцы и резные лесенки, изготовленные некогда по рисункам хозяина или сделанные им собственноручно. Всего лишь три вещи приковывали к себе его внимание в этом месте: вид на море, телефон (он все время прислушивался, ожидая звонка) и сама девушка.

Она казалась ему все более красивой, и он рассеянно пропускал мимо ушей ее рассказы о чудесах и легендах этого дома, отвлекаясь красотой ее лица, загадочностью ее усмешек, элегантной худобой ее конечностей, смуглостью ее пальцев и припухлостью ее губ, которые она в задумчивости покусывала в паузах между рассказами. В ее смуглом лице и темных волосах не было ничего шведского, скорее казалось, что, возможно, в ней есть немного японской или бурятской крови, во всяком случае о том говорил разрез ее глаз, и только цвет их — зеленый и прозрачный — напоминал о море, но не о том, южном и ослепительно синем, что ожидало эскадру, а о каких-то далеких север-



Здравствуй, Эскадра! - тихо произнесли  
ее опухшие от поцелуев губы.

ных фьордах, которых Ершову не приходилось видеть наяву.

Они долго ходили по дому, она много рассказывала, он почти не слушал. Часы шли, телефон молчал, никто не появлялся.

Стало прохладнее, приблизился вечер, тени деревьев стали длиннее и острее, солнце повисло над горизонтом. В закатном свете, который принято называть «медовым», она показала ему силуэт беседки, видимый из одного из окон дачи.

— В этом саду три беседки, — произнесла Лиза. — Мы с сестрой называем их Нелюбимая, Ненавистная и Флер. Когда мы были совсем маленькие, было только две — Любимая и Нелюбимая. В Нелюбимую мы никогда не ходили, она казалась нам скучной. Мы презирали эту беседку. В Любимой постоянно играли, обожали ее. Но как-то раз, в наказание за одну шалость, нас заперли там на целый день. И мы переименовали ее в Ненавистную, поклялись в тот день, когда были в плену, называть ее только так. Но мы продолжали любить Ненавистную и играть в ней. Потом дядя построил третью беседку, и мы назвали ее Флер. Почему-то мы были очарованы этим словом.

— А эта какая из трех? — поинтересовался Ершов (рассказ о трех беседках единственный проники в его сознание из того, что говорила Лиза).

— Это Флер, — произнесла она.

После этих слов они начали целоваться. Так случилось, что они провели ночь вместе, в одной из спален дачи, с окнами на море. Рано утром Лиза проснулась от странных звуков — как будто за окнами лопались огромные пузыри, и с резким свистом что-то грохотало и обваливалось. Она осторожно высвободилась из объятий спящего офицера и голая вышла на балкон. Свежесть и красота утра охватили ее. Весь горизонт был занят воен-

ными кораблями, на их бортах вспухали белые шары, затем раздавался свист, и внизу гулко грохотало. Столбы белого дыма стояли над морем, столбы темного — над городом. Внизу горел отель «Турин».

Лиза выпрямилась, запрокинула вверх лицо, наслаждаясь счастьем этого момента.

— Здравствуй, Эскадра! — тихо произнесли ее опухшие от поцелуев губы.

2004

Долго искали Бен Ладена, организатора ужасающих терактов в Нью-Йорке: то пытались обнаружить его в пещерах Гора-Бора, то выяснялось, что он скромно живет в Париже, в небольшой квартире в предместье Сен-Лазар, то сканирование Земли из космоса рисовало на экранчиках массового воображения его подземные дворцы, скрытые под песками Саудовской Аравии, но нашли его, в конце концов, на Колыме, среди сопок и холодных озер — он жил в полустгнившем домике, который когда-то занимал комендант одного из сталинских лагерей. Сам лагерь давно зарос, сторожевые вышки обвалились, бараки проросли травой, замшели и ушли в землю, а бревенчатая избушка коменданта уцелела: крепко ее склотили. Там и настигла Бен Ладена группа американских специалистов, что долгие годы неслись по следу этого преступника № 1. Странно, но найти его помог американцам некто Курский, русский старичок благородных кровей, отпрыск старинного княжеского рода (говорят, предком его был сам князь Курбский, знаменитый предатель и беглец, с которым переписывался его заклятый враг Иван Грозный). Этот Сергей Сергеевич Курский в шестидесятые годы XX века был звездой Московского уголовного розыска, известным следователем по особо тяжким преступлениям, потом о нем забыли начисто, но в начале XXI века случилось несколько шумных уголовных дел, несколько загадок, словно серые злые зайцы проскакали по миру, и разрешить эти загадки неожиданно помог

этот Курский. Имя его снова всплыло, снова авторы детективных книжонок (как когда-то в счастливые 60-е) стали делать его героем своих мимолетных бестселлеров, появился популярный рассказик «Свастика», а затем и английский фильм под тем же названием, где роль Курского сыграл старый Малькольм Макдауэлл\*: в общем, на старости лет открылось у Курского второе дыхание, и вторая волна славы нахлобучилась на его седую голову, как шапка невидимого Мономаха.

Годы шли, а Курский становился все популярнее — и интересовались им уже не только как разгадчиком криминальных загадок. Заинтересовались им (и не на шутку) уже совсем по другой причине — по причине долголетия. Да и как не заинтересоваться? Годы летят за годами, уже начало XXI века ушло в прошлое, Курскому перевалило за сто лет, потом и за сто десять, а он все был бодр и искал преступников, ездил везде и всюду, и показалось вдруг всем, что он — весьма необычное существо. Стали интересоваться его диетой, образом жизни. Диета была строгой (минеральная вода, вареный овес, изредка фрукты), образ жизни — здоровый (в любую погоду при любой температуре старец плавал в водоемах), но это все же не вполне объясняло эту загадочную бодрость и активность в 110 годков.

Поползли и завертели слухи: говорили, что он мутант, облученный, что в шестидесятые годы на нем якобы ставили какой-то опыт, проводился какой-то секретный научный эксперимент, даже говорили — инопланетянин, и даже в лоб спраши-

\* Здесь надо оговориться, чтобы избежать неправильных фантазий, что внешне Макдауэлл совсем не похож на Курского: лицо Макдауэлла принадлежит к разряду «собачьих», это лицо английского пса, грубое и великолепное, тогда как сухонький Курский скорее напоминал птенца, птенца некоей острокрылой птицы.

вали его в телевизионных интервью, с какой он планеты, на что старик обычно отвечал с холодной улыбкой: «Я с планеты Европа, она вся покрыта льдом, молодые люди». Порою шутил «Я из черной дыры, как и все мы».

Обычно он бывал чопорным, любезным — заметили, что он любит посещать святые места разных религий, русские и буддийские монастыри, видели его то на Валааме, то на Афоне, то в Индии, то в Тибете... Мелькнуло слово «святой», и вот уже какая-то женщина рассказала в газете, как сильно болела и совсем уже готовилась уйти из жизни, и тут во сне явился ей следователь Курский и сказал: «Поживи еще, глупая», после чего она совершенно поправилась. Затем, откуда ни возьмись, брякнулось слово «бессмертный», и многие заподозрили, что Курский вообще не собирается умирать. Стали возникать версии, что он первая ласточка, что такие люди стали появляться, которым смерть не грозит, и даже один профессор предложил заменить слово «бессмертные» (по его мнению, некорректное) более правильным, с его точки зрения, словом «вечноживущие».

И тут в этом контексте вспомнили о Бен Ладене — этого злодея все никак не могли найти, множество раз появлялось сообщение, что он умер или был убит, но сообщения эти оказывались ложными, его все искали, и хотя он не был столь стар, как Курский, но все равно накапало ему немало, давно уже перемерли его враги — Джордж Буш-младший, Тони Блэр и прочие, давно уже этот вечный беглец не подозревался в организации никаких терактов и других злодеяний: видимо, он полностью отошел от дел, соратники его, кажется, бросили, и уже другие злодеи пугали мир. А поиски его продолжались — ведь как ни стар преступник, все же следует ему ответить за свои преступления.

И вот так случилось, что один из предполагаемых «вечноживущих» помог наконец-то разыскать другого якобы «вечноживущего»: великий сыщик разыскал наконец великого преступника.

Когда его взяли, домик коменданта лагеря (трухлявая избушка с резными наличниками) был уже в деталях виден на экранах космических систем слежения: в домике не было ни оружия, ни охраны — одинокий старик неподвижно лежал на железной кровати в углу.

Все равно его боялись, и ворвавшиеся американцы были в скафандрах, с запредельным оружием. Только Курский вошел (он был в группе захвата) без оружия, без скафандра, в белом полотняном костюме (стояло жаркое лето, полное мошкары). Пол так прогнул, что ходить по нему оказалось трудно, как по клавишам рояля, ржавая кровать вросла в пол, к ней намертво прилип окаменелый, черный от грязи матрац и такая же убогая подушка. От этой подушки поднялось древнее лицо, все в дымных волосах, с огромной хилой бородой — погасшие, безразличные глаза взглянули на вошедших.

Его спросили о чем-то по-английски, по-арабски - старец молчал, приоткрывая иссохшие губы, в груди его что-то шуршало. Затем он заговорил по-английски.

— Я умираю, — произнес он довольно четко и твердо, — хорошо, что вы здесь. Хочу облегчить душу перед смертью. Исповедоваться.

— Вам нужен мулла? — спросил один американец. Бен Ладен отрицательно качнул головой.

— Я не мусульманин и не араб. Я ирландец, родился в Ольстере. Мое настоящее имя Бенджамен О'Ладден.

Я вырос в католической семье, но в догматы этой религии не верил никогда. В детстве мне привили ненависть к англичанам - это, пожалуй,

единственный предрассудок, от которого мне так и не удалось избавиться. Когда-то я был рыжим, как огонь, но затем волосы мои почернели. Я сделал множество пластических операций, много раз менял свое лицо. Но я не буду вам рассказывать о своей слишком долгой жизни, о том, как стал агентом множества агентур, шпионом многих разведок, как стал миллионером, как втерся в доверие к арабам и возглавил сеть тайных террористических организаций... Когда-то я наслаждался своей жизнью, как роскошным приключенческим романом. Теперь она мне кажется глупой возней, недостойной того, чтобы помнить о ней. Я ни в чем не раскаиваюсь, ни о чем не жалею, мне просто немного стыдно, что я так долго не мог повзрослеть.

Кажется, я на много лет застрял на ольстерских задворках, где мы с друзьями-мальчишками играли во всякую мальчишечью дребедень и пересказывали друг другу американские фильмы. Да, детство — это спрут с цепкими и длинными щупальцами, господа. Из этих щупалец не просто выбраться, и часто такой отросток, полупрозрачный и вязкий, словно незаметная растерянная сопля, тянется за тобой от детского горшка до могилы. Но я все же повзрослел — уже здесь, на Колыме. Эти места исцелили меня. Мне было уже за семьдесят, когда в моих руках случайно оказалась книга, переведенная на арабский — она называлась «Колымские рассказы», ее написал один русский заключенный, бывший на каторге в этих местах. Я прочитал эту книгу без особого интереса, скорее, полистал... Переводчик был мне другом, и я из вежливости листал эти страницы. Но что-то из прочитанного запало в душу — может быть, несколько фраз, искаженных переводом, а скорее, образ сурового и неведомого северного края глянул на меня сквозь арабскую вязь.

Потом, когда мне пришлось скрываться, я вспомнил вдруг об этой книге, и укрылся здесь. И здесь, наконец-то, я стал взрослым, стряхнул с себя увлекательные щупальца детства. Я понял, что мои приключения закончились, и тут мне открылось другое Приключение, огромное и прежде совершенно мне неведомое, Приключение, которое ко мне не имело и не имеет никакого отношения, и я понял, что есть происшествия, в которых я никогда не поучаствую, о которых никогда не узнаю... Среди вас нет англичан?

— Нет.

— Слава Богу! Тогда пускай кто-нибудь из вас протянет мне руку на прощание. Хотя бы вы, господин в белом.

Курский приблизился к постели умирающего ирландца и прикоснулся к его иссохшей руке. Две очень старые ладони сжали друг друга.

Ирландец вздохнул.

— Я так долго находился в абсолютном одиночестве. Впрочем, нет...

Меня навещали некие существа. Они были почти бесплотны, немного равнодушны, но в целом добры. Сначала я думал, что это духи каторжан, погибших в этих местах, но потом понял, что к каторжанам эти существа не имели никакого отношения. Они диктовали мне... Я должен был записывать за ними, и это было так мучительно и трудно, потому что все, что я писал под их диктовку, казалось мне малопонятным и ненужным вздором, набором каких-то ошметков, каких-то остатков, каких-то полудетских романтических зарисовок... Мне казалось, что меня заставляют рыться в кипе старых иллюстраций, вырванных из книг и грубо раскрашенных чужими детьми. А ведь я слишком долго притворялся арабом, мусульманином, и научился не любить картинки. Все это было о войне, а я сам прожил жизнь вой-

на, и хотя я отчасти всего лишь играл эту роль, но играл ее отважно и с упоением. И тут вдруг в мире войны, который всегда казался мне горячим и страстным, открылись холодные прорехи, какие-то тайные и гулкие изнанки, как в полувзорванных домах.

И мне вдруг стало казаться, что все войны происходили лишь затем, чтобы надламывать вещи и оставлять их на некоторое время полуразрушенными, вскрытыми, чтобы хранящиеся в них тайны индифферентно выглянули вовне. Подобным образом война поступает с мыслями и чувствами людей — она надламывает их и оставляет надломленными, так что становится видна их материя, их срез.

Демонстрационный Срез — вот он, голубчик, цель всех войн. Эти процедуры, составляющие тайную суть всех войн, показались мне столь отвратительно случайными, столь отталкивающе нейтральными, столь лишенными не только героического, но даже и трагического содержания, что меня поначалу нередко тошнило, пока моя дрожащая от истощения рука выводила на бумаге фразу за фразой. Не я был их автором, я являлся лишь секретарем невидимых существ, диктовавших мне эти истории. Но потом странное и всеобъемлющее наслаждение выплыло оттуда, из текста, словно рыба из бездн, и холодная или горячая сладость отдельных слов напомнила мне о давно забытых пиковых моментах наркотического блаженства, испытанных в молодости, в Европе и в Саудовской Аравии.

И тогда мне начинало казаться, что война умирает, умирает вместе со мной, и что умирает она настолько старой, что сделалась равнодушна к себе, но все же сквозь фильтр этого безразличия она диктует мне свои последние записки...



Темная, высохшая рука ирландца отделилась от руки следователя, полезла под подушку и извлекла оттуда пачку грязных листов, неряшливо исписанных по-английски.

Но потом я догадался, что война вовсе не умирает, она просто приобретает новые облики, настолько непривычные, что мои глаза воина и шпиона более не узнают ее.

Записывая некоторые рассказы, например, «Творожники» или «Мячик Золотой», я плакал как ребенок, другие, - например, «Смешной гроб», — пробуждали во мне давно утраченную жестокость. Но по большей части записываемые тексты не волновали моего сердца.

Потом невидимые существа объяснили мне, что дело не столько в самих историях, сколько в их сочетаниях: все это определенный код, в котором заключен смысл. Что за зашифрованные послания они туда вложили и зачем - не знаю. У вас, господин в белом, проницательный взгляд, возможно, вы сможете расшифровать эти рассказы и понять, кто и зачем продиктовал их мне.

Темная, высохшая рука ирландца отделилась от руки следователя, полезла под подушку и извлекла оттуда пачку грязных листов, неряшливо исписанных по-английски.

Ирландец протянул рукопись Курскому. На первой странице разъезжающимся старческим почерком было написано: «The War Stories».

*Поезд Москва — Севастополь  
Май 2005*

В один из июньских дней 2008 года проходил выпускной вечер в Высшей Ее Величества Военной школе для женщин, расположенной в графстве Сассекс, среди зеленых холмов. Школа размещалась в псевдоготических зданиях со стрельчатыми башенками, разбросанных по лужайкам. Красивая река огибала парк, над рекой медленно гнили деревянные мосты, над ними по традиции развивались экзотические флаги отдаленных стран, некогда входивших в Британскую империю, и пестрыми пятнами отражались флаги в темной и быстрой воде. В тот вечер огромные соборные окна центрального корпуса были наполнены светом, ярким, как янтарь на солнце, и этот янтарный свет аппетитно падал в изумрудную тень деревьев и лужаек — там, в парке, зелень была такой сочной и свежей, точно траву и кусты специально напитали концентрированным зеленым соком, выжатым из каких-то других — далеких — лесов и трав. В окнах, над сияющими гроздьями люстр (то есть под тем славным ужасом, который называют люстрами), мелькали темно-синие униформы выпускниц, которым и посвящалось сегодняшнее торжество.

А торжество наметилось пышное, на славу, в новоевропейском духе, без скромности и скопидомства. В банкетном зале накрыли огромный стол, весь сверкающий бокалами и яствами, но никто еще не приступал к трапезе: девушки в темно-синих униформах стояли группами, болтая,

пестрели среди них платья матерей, серебрились кое-где седые головы бабушек и дедушек, чернели строгие костюмы отцов и любовников. А стол терпеливо и роскошно ждал своих гостей, как ждут все накрытые банкетные столы, пока никто еще не пригубил их холодных вин, не запятнал светозарной белизны их тарелок...

Сколько здесь было снеди! Рыбные пироги, огромные, ромбовидные и овальные, чмокая, грелись на мелком огне горелок, суп из бычьих хвостов посылал всем свой жирный привет, распространяя горячие ароматические флюиды из-под ребристых крышек фарфоровых супниц, мясо отрешенно розовело среди зелени\*, лежали, как павшие в честной битве, бараньи бока, кое-где прихваченные узорами съедобной листвы. Пудинги трепетали в девичьем страхе, все в клюкве, сахарной пыли и клубнике...

Но все затмевал колоссальный и величественный торт, высившийся посреди стола как кафедральный собор в центре веселого города.

Сердце замирает, когда собираешься приступить к описанию этого торта.

Дрожит в руках блокнот с изображением на обложке листа папоротника крупным планом и загадочной надписью EXPLORER, NATURAL COLLECTION, дрожит в руках превосходная авторучка, вся тоже покрытая загадочными надписями: 1800(крупно), затем мелко — 0.1. Затем еще мельче, на разных языках: Pigment tushe, Lichtbeständig; Pigment ink, Lightfast; Tinta pigmentada, resistente a la Luz; Encre pigmentee, resistente a la lumiere,

\* Отрешенно, потому что мясо это, как никак, труп, «расчлененка» на уголовном языке, и всякое мясное блюдо сохраняет в себе вязкую отрешенность мертвого тела. Об этих телах можно сказать: «их убили и забыли», но и они забыли обо всем.

таким образом, в наши вавилонские времена само орудие письма покрывается фразами на разных языках, эту авторучку можно читать, перечитывать, комментировать, но я не стану этого делать, так как пишу эти строки в поезде, который сейчас стоит в городе Бресте\*: здесь вагон поднимают специальными домкратами, под вагоном меняют колеса - прекрасная процедура, напоминающая о том, что тут когда-то проходила граница великого государства. Теперь же разбитные белорусские женщины носятся по вагонам, предлагая соленые огурцы, кур, газеты, пиво...

Одна из них, меднозубая, предложила купить у нее водки и выпить с ней вместе, но я отклонил это предложение, так как моя душевная боль (то исчезающая, то появляющаяся) требует от меня, чтобы я приступил к описанию великолепного торта, возвышающегося посреди пиршественного стола.

Он весь белый, с золотыми вкраплениями цукатов, и он действительно напоминает собор — собор в духе рококо, бело-золотой, воздушно-громадный, облачно-лучистый, курчавый от бесчисленных завитков и ракушек. Но дело не в красоте этого торта, а в его загадочной природе, о которой я еще скажу впоследствии. Между тем никто не смотрит на торт, пусто в банкетной зале, а в соседней зале вдруг смолкает гул голосов, звучат аплодисменты — выпускницы и их гости приветствуют невысокую стройную женщину в военной форме, которая внезапно появляется перед ними. Она чернокожая, лет тридцати пяти, с довольно краси-

\* Я возвращаюсь в Москву из Бельгии, и в данный момент старомодно пользуюсь авторучкой и поездом, вместо компьютера и самолета, но это еще не значит, что мозг мой свободен от утомительных образов далекого будущего.

вым лицом и черными, очень внимательными глазами. Ее зовут Карин Ричмонд, она — ректор этого учебного заведения. На мгновение белозубая улыбка освещает ее темное лицо, затем улыбка гаснет, и она произносит:

— Друзья, учитывая мой пол и цвет моей кожи, вы без сомнения оцените иронию ситуации, если я начну свою речь, напомнив вам когда-то знаменитое стихотворение Киплинга «Бремя белого человека». Это стихотворение было в свое время осуждено как расистское, как сексистское, как реакционный гимн колониальной политике тех времен... Итак, это стихотворение осуждено и забыто. Но... не совсем забыто. Когда мне было столько лет, сколько теперь вам, это стихотворение попало мне на глаза и оскорбило меня — я готова была плюнуть в лицо автору этого стихотворения, холеному белому мужчине, так называемому «джентльмену», представителю жесткой власти «нежных людей». Но постепенно я выросла, я чувствовала в своих жилах биение крови древних воинов Африки, отважно защищавших свои селения от набегов, я посвятила себя военному делу и вскоре обнаружила, что одета в военную форму армии Ее Величества, которую когда-то носил и тот джентльмен, автор стихотворения. С различными миссиями, иногда очень сложными и опасными, меня отправляли в самые отдаленные уголки мира, и там я осознала, что такое дружба, взаимопомощь, отвага. Я осознала, что означает «защитить беззащитных». В самых отчаянных ситуациях, находясь под гнетом жестоких и циничных сил, готовых убивать, морить голодом и втапывать в грязь достоинство тех, кто оказался в их власти, люди все же не желают верить в то, что их бросили на произвол судьбы. Люди верят, что помощь придет, они молятся своим богам, они ждут, что откуда-то с неба протянута им будет — иногда

в последний момент — рука помощи. И эта рука — не всегда, увы, далеко не всегда — но все же приходит на выручку. Эта рука должна быть сильной, оснащенной — эта рука и есть армия цивилизованного мира\*.

И вот, я с изумлением обнаружила, что в самые страшные моменты, связанные с абсолютным напряжением всех душевных и физических сил, когда мы спасали детей, когда с боем доставляли продовольствие и медикаменты в районы, охваченные голодом, эпидемиями или попавшими под удар стихийных катастроф, когда мы оказывали помощь нуждающимся под огнем диктаторских армий или бандитских вооруженных групп, когда спасали заложников — в эти моменты в моем сердце снова начинали звучать строки стихотворения, некогда оскорбившего меня до глубины души. Но я уже не видела в этих рифмованных строчках горделивого и надменного белого мужчины-колонизатора, я уже не слышала его пафос — я слышала лишь печаль, глубокую, стоическую печаль, лежащую на дне этого стихотворения. Киплинг описал человека, стоящего лицом к лицу с джунглями. Мне ли не знать, что это такое? Это у меня в крови. Мои африканские предки веками жили с джунглями лицом к лицу. Но они растворялись в них, они становились их частью, они понимали языки джунглей... Но печаль — это отказ. Отказ от растворения. Добровольный отказ от понимания. Я почувствовала, что случаются ситуации, когда непонимание выше, чем понимание. И в этот момент я ощутила, что я — такой же британский офицер, каким был мистер Киплинг. «Белый человек» Киплинга — это не расистский идеал, а ме-

\* В оригинале, говоря по-английски, Карин Ричмонд, естественно, пользовалась игрой слов «arm» (рука) и «army» (армия).

тафора печали, и я — чернокожая женщина — являюсь носителем этой метафоры. В печали сила наших островов, покоровших мир. В печали — источник нашего самоотречения, нашего практицизма и нашего юмора. Печаль сделала нас меркантильными и скептическими, деятельными и созерцательными, она открыла нам реальность других и абсолютную ирреальность нас самих.

Для того чтобы давать другим надежду, нам самим следует отказаться от надежды и бдительно хранить в сердцах горькое знание о том, что все безнадежно. Мы снова стоим лицом к лицу с джунглями, враг наш невидим и вездесущ, новая всемирная война — война цивилизованных стран против международного терроризма — вернула нас в киплинговскую реальность. Но теперь джунгли не только снаружи, они у нас в крови, наши сердца наполняются их голосами. Впрочем, глубочайшая на свете печаль хранит нас, и ничто не помешает нам принять бой, — Карин Ричмонд обвела лица слушательниц взглядом своих абсолютно черных глаз. Полудетские лица местами окаменели от военного бесстрастия, кое-где слезы крошечными бриллиантами повисли на рыжих ресницах (особенно у парочки нежных белянок, что влюблены были в ректоршу, а она славилась своей приверженностью к лесбийской любви). Кое-где девичьи губы отяжелели от скуки, а мужчины, толпившиеся за спинами выпускниц, давно уже мечтали о банкетном столе.

Большинство присутствующих никакой печали не ощущали, слушали невнимательно и по рассеянности полагали, что речь идет о старом генерале Сорроу, который когда-то был ректором этого заведения. Кое-кто прошептал в ухо соседке: «И что это ее так прорвало? Обнюхалась что ли? Есть хочется...»

Ректорша посмотрела на свою левую руку, безжизненно повисшую вдоль тела, в кожаной перчатке.

— Я столько говорила вам про руку, а сама, как вы знаете, лишилась руки. Девушки, юные дамы, вы выбрали профессию, которая оставляет раны не только на теле, но и в душе. Будьте к этому готовы. И не ждите благодарности. Киплинг сказал как минимум одну правду: благодарности не будет.

Благослови вас Бог!

И она сделала здоровой рукой жест, приглашающий всех в банкетную залу. Все зааплодировали и направились туда. Распахнулись огромные готические двери, и тут все застыли в глубоком шоке. Пиршественный стол был опустошен — все было съедено, сожрано, выпито... На скатерти валялись опрокинутые бокалы, разбитые бутылки, ручейки соусов стекали вниз на паркет, ваза с цветами лежала под столом в грязной воде, серебряные вилки и ножи местами были перекручены и смяты, словно их мяли и гнули какие-то силачи... Все вино, все фрукты и соки, вся еда — все сгнуло. И самое главное — царственный Торт, украшение стола, исчез. Не осталось ни крошки, ни цукатика, ни мазка крема на огромном блюде, где он возвышался. Оно стояло совершенно чистое, белоснежное... И вошедшие тоже стояли, окаменев от изумления, глядя на это зрелище...

Происшествие расследовали, но ничего не выяснилось. Заподозрили группу студентов-подонков из соседнего мужского колледжа, которые стилизовали свои злые забавы в духе фильма «Механический Апельсин». Но молодые подонки сумели доказать свою непричастность. Так и осталось неизвестным, кто совершил это отвратительное хулиганство.

На самом деле это сделал Торт.

Читатель уже догадался об этом. В сущности, это был вовсе не торт, а неизвестно что, точнее, неизвестно кто. Скорее всего какой-нибудь инопланетянин-трансформист (сейчас много таких, говорят, проникло на нашу планету), а может быть, просто неведомое существо.

Если кто и знал о нем, то так просто его и называли — Прожорливый Торт. Был он невероятно хитер и действительно невероятно прожорлив, орудовал на больших банкетных столах, на больших торжествах, вовремя подменяя собой настоящий праздничный торт, который он молниеносно съедал. Затем он водружался посреди накрытого стола и, воспользовавшись какой-нибудь ситуацией, когда все отвлекались на поздравительную речь, небольшой концерт, церемонию или любительский спектакль, предшествующий банкету, он жадно и беспощадно поглощал все, что было на столе: всасывал все вина, соки и даже минеральную воду, втягивал в себя всю еду. А затем сбегал. Неизвестно как он перемещался, но скорости развивал большие. Говорят, он владел телепатическими и гипнотическими способностями. Например, в данной истории обращает на себя внимание речь ректорши Ричмонд. Вообще-то это была хорошо организованная лесбиянка, очень немногословная, с неплохим, сдержанным чувством юмора. Речь, ею произнесенная, кажется слишком длинной, и вообще она не совсем в духе этой женщины. Возможно, Торт телепатически подсоединился к сознанию ректорши и заставил ее говорить дольше, чем следовало, чтобы успеть сделать свое грязное дело. Все эти разговоры про «печаль» подозрительны. Возможно, Торт навязал ректорше Ричмонд свою собственную печаль, совершенно чуждую ее сердцу. Об этом думала и сама ректорша уже после происшествия, уже ночью, в посте-



Он всегда выbleвывал сожранное, причем старался это сделать как можно скорее, чтобы вернуть себе свою воздушную легкость.

ли, лежа неподвижно, обнаженная, пока голая рыжая девочка с ослепительно белой кожей, стоя на коленях, страстно целовала ее искусственную руку в кожаной перчатке. А ректорша смотрела в деревянный потолок, где летали шмели, и думала о том, что никогда ей не приходилось читать никаких стихов Киплинга — она только однажды в детстве видела фильм «Маугли». Думала также о том, что подробный отчет об этом происшествии придется составить для военной разведки, и они, наверное, передадут материал в отдел, занимающийся так называемыми загадочными явлениями.

А Прожорливый Торт был уже далеко отсюда — он несся как метеорит, какими-то дикими местами, одному ему ведомыми тропами, постепенно выблевывая налету месиво из бычьих хвостов, мяса, рыбы, пива, вина, пирогов, фруктов... Он всегда выблевывал сожранное, причем старался это сделать как можно скорее, чтобы вернуть себе свою воздушную легкость.

Зачем он так хулиганствовал, зачем объедал банкетные столы и портил праздники? Не знаю. Можно, конечно, понимать его как метафору Запада, который всегда преподносит себя как некий прекрасный подарок, а затем всасывает в себя все прочие подарки... Но Прожорливый Торт себя метафорой не считал. Душа его была печальной и немного раздраженной. Прожорливый Торт презирал людей за то, что они, по его мнению, слишком много едят. В целом он считал, что люди — это вампиры-обжоры, уничтожать их он не хотел, а вот проучить чуть-чуть был не прочь. Впрочем, все это догадки.

Есть еще версия одной группы медиумов — это был инопланетный агент, посланный на Землю с важным заданием, но на Земле он сошел с ума и

стал заниматься вот такими вот глупостями. За это его через некоторое время отозвали в родную галактику, судили там, но оправдали, сочтя душевнобольным.

«Люди слишком много едят!», — все твердил этот упрямец на суде.

Дальнейшая судьба его неизвестна. Наказывать его, конечно, не стали — все же он был так красив: воздушный, белый с золотом.

Поезд мой мчится по Белоруссии, ночь, хочется спать. Полная золотая луна в вагонном окне...

*Поезд Брюссель — Москва  
18 сентября 2005*

# ВОЙНА ПОЛОВ

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,  
Pleraque differat et praesens in tempus omittat.\*

*Гораций*

«Бывают, как известно, осенние дни — столь кристальные, что их прозрачность граничит с болью. А ювелирная выделка лучей в эти дни делает эту боль сладкой, мучительно сладкой и холодной, такой сладостно-охлаждающей, какой бывает трезвость, приходящая после долгого, буйного пьянства. Наконец-то ушла пьяная от любви весна, ушло возомнившее о себе лето, и скоро белой шубейкой зима накроет нас с головой.

Пока же нам дан проблеск ясности — короткий, позолоченный. Зачем это промытое окошко? Затем, чтобы вспомнить то чистокровное детское любопытство, которым дышит Покой».

Так думал молодой повеса... впрочем, не то чтобы повеса, а просто молодой человек, вполне современный, даже модный, разве что немного ленивый для современности. В наши трудолюбивые времена деятельность пронизывает людей, что называется, «до корней волос», как раньше пробирала только жуть, и даже Россия, кажется, позабыла про святую лень — а сколько стонали, сколько жаловались на эту лень, как на тяжкую болезнь, и вот этой лени нет больше, пациент излечился — а жаль, Господи, как жаль нашу лень!

\* Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,  
Прочее все отложить и сказать в подходящее время.

*Гораций*

Вернуть бы ее, это утраченное сокровище, вдохнуть полной грудью! Сколько в ней было свободы, как расширилось пространство, как раздвигалось время! Но мы не ценили этот дар и потому его потеряли. И вместе с ним потеряли себя. Тошно-творная деловитость и ответственная, исполнительная, дисциплинированная юркость воцарились везде... Блядь, как же от этого тошно! — так, опять же, думал наш молодой повеса, бредя по осеннему парку, шурша модными ботинками в хрустящей палой листве, похожей на corn-flakes: пока что еще несладкий вариант кукурузных хлопьев Dr. Kellog, но скоро первые заморозки сделают эти хлопья визуально-сладкими, присыпав подбием сахарных пудр. Молодому человеку было тошно на душе, потому что даже в осеннем парке он оказался по делу, а хотелось просто побродить... Но, к сожалению, в отличие от счастливого Онегина, всевышние боги не сделали его наследником никаких родных, не было у него богатых дядь и тетей, будь то честных или нечестных правил, и поэтому приходилось думать ему о пропитании. Это, может, и к лучшему, а то бы бесился с жиру как Онегин, который настолько оборзел, что стал запросто валить студентов и чуть ли не в глаза плевать мечтательным девушкам. Но герой наш не был аристократическим говном, как Онегин, он никого не убивал, кроме комаров, происходил из интеллигенции (родители его, в прошлом музыковеды, почему-то уехали навсегда в Амстердам и открыли там убитое джазовое кафе), жил один в неряшливой квартире в Хрущевом переулке на Сретенке.

«Почему это Онегин сегодня в голову лезет?» — думал наш герой, и сразу вспомнил, почему — вчера вечером, выкурив свой good-night joint, он увидел по телевизору кусок английского фильма «Онегин», где русского денди играл какой-то анг-

лийский длинноносый мудак, зато роль Татьяны исполняла Лив Тайлер, чье лицо внезапно показалось нашему герою прекрасным: увидел незащитные, словно немного припухшие со сна глаза, немного оленистое лицо...

«Олень», — мысленно поправился юноша, — «Олень. Олени. Мысли о лени. Мысли о Лене (о Лене Шведовой он, впрочем, не думал сегодня целое утро). Убийство Ленского. Убийство лени. Ленивое убийство. Русские северные водоемы — Онега, Лена, Печора. Выныривающие из этих холодных вод литературные персонажи-дуэлянты — Онегин, Ленский, Печорин. Оттуда же, из этих вод, вынырнул и Ленин. Ленивый Ленин. Все он ленился в своем Мавзолее, валяется там как в сказочной горке с хрустальными вазочками, недаром жил в Горках, вот и дрыхнет теперь в хрустальном гробу, как Обломов на своем диване. А ведь как громил Володя обломовщину, как осуждал! А вышел тотальный облом. Обломов оказался тотально прав, лучше бы все лежали по диванам. Лежали бы тихо по хрустальным гробам, и не ебли бы мозг, румяные, уснувшие, но не тем, в пизду, холодным сном могилы, а таким волшебным, живым сном зачарованных принцесс, белоснежек, барбаросс, — сном Мерлина, наконец! Сном самого великого Мерлина, глубоким, кудесническим.

А нынешний то Володя, президент Путин, вчера по телевизору говорил, что к власти должны прийти "молодые, энергичные управленцы". Как будто сам он недостаточно молод и энергичен! Как тошно жить под властью энергичных управленцев, под властью хозяйственников, под властью хозяйчиков... Долой хозяев! Пусть к власти придут гости — гости из будущего, например. Гости из параллельных миров. Гости из перпендикулярных миров. Россией должен управлять величественный старец, а не молодые энергичные управ-

ленцы! В пизду эту суетливую юркость, эту готовность обоссаться от восторга от одного лишь слова «бабло», эту склонность разрушать все древнее и прекрасное, облагороженное течением времен, и заменять это виповым новостроечным говном — заменять с такой довольной, с такой озабоченно-гордой миной, как у толстозадой хозяйюшки, деловито меняющей в кухне старинный бабушкин буфетик на новенький, свежекупленный, чуть ли не никелированный... Вот она с гордостью оглаживает ручонками никелированные стенки нового чудовища, замышляя при этом дальнейшие перестановки, замены, облицовки, ремонты, приобретения, усовершенствования...

И каждое из этих обновлений — во зло. Ей, хозяйюшке, и ее хозяйину — им невдомек, что в старинном буфете с его затхлостью, исцарапанностью, с его нелепыми резными листьями плюща — в этом темном ларчике, который они изгнали на помойку, хранилось будущее здоровье и счастье их детишек и внуков, теперь же, без буфетика, им вскоре заменят головы на никелированные скороварки.

Да, тошно, тошно жить под властью хозяйчиков и хозяйюшек! Конечно, это, наверное, не столь ужасно, как душегубство прежних времен, но все же досадно, что жестокость прошлого оправдывает своим звериным размахом мелкие мерзости наших дней.

Да не такие уж они мелкие, эти мерзости наших дней! Разрушение старого дома, старого, таинственного, вечно пустого, уже два столетия берегущего свою ветхость, — это тоже убийство, причем такое убийство, при котором убийцы так никогда и не узнают о том, кого убили они в лице этого уничтоженного строения, кого уничтожили они в телах старых тенистых деревьев, окружавших этот дом, — деревья спилили, дом разрушен, теперь здесь возвышается некий кристалл, с полу-

античными, чуть ли не пластмассовыми портиками, с синюшной подсветкой — ресторан, казино, театр, отель, банк... Все сделано из аккуратной, причесанной блевотины. Из пестрого говнеца. Столица меняется к лучшему. Но наказание постигнет убийц старого дома и старых деревьев — неведение о том, кого убили они, не смягчит их вины. Да что там разрушение старого дома! Каждый, кто выкорчевал благородные половицы своего паркета и заменил их итальянской плиткой, уже совершает гнусное преступление — своего рода предательство».

Да, наш герой ненавидел ремонт, ненавидел обновление интерьеров, хотя этим он жил, то есть деньги на жизнь зарабатывал именно этим.

Молодого повесу звали Женя Йогурт, он учился на дизайнера интерьеров, потом какое-то время бездельничал, продавая оставшиеся от бабушки побрякушки, но побрякушки закончились и пришлось идти работать в фирму «Флорз», занимающуюся покрытием полов: элитными разновидностями паркетов, плиток, линолеумов, ковровых и прочего. Фирма принадлежала одному прозорливому человеку, не лишенному даже остроумия и некоторого полета мысли. Этот человек сумел создать фирме отличную репутацию в среде московских состоятельных людей, и эти богатеи, покупая новые квартиры или реконструируя старые, охотно обращались во «Флорз», чтобы сделать себе роскошные или же сдержанно-дорогие полы на свой вкус. В успехе фирмы сыграла определенную роль и остроумная реклама, слоганы для которой придумывал сам хозяин фирмы. Реклама вся строилась на обыгрывании того двойного смысла, что содержится в слове «пол». Здесь были такие слоганы как: «Проблема пола» («Реши проблему пола!»), «Пол и характер» («Твой пол, твой характер!»), «Прекрасный пол, сильный пол».

«Половое влечение», «Выбери свой пол», «Половая ориентация», «Тебе надоела твоя половая жизнь? Смени пол!», «Пол Маккартни — наш пол!» — и так до бесконечности.

Женю Йогурта все это бесило. Он ненавидел фирму «Флорз», ненавидел встречаться с клиентами, смотреть вместе с ними каталоги, образцы, осматривать их квартиры и дома и подбирать полы для разных комнат, разных вкусов и «половых» капризов состоятельных. Эта работа сделала его в душе чуть ли не коммунистом. Он бы даже вступил в компартию, если бы она не была фэйком.

Трудно сказать, почему он так не любил свою работу. Вообще-то работа была неплохая, в фирме атмосферка царила милая, работало много дизайнеров и художников, среди них несколько приятных девушек... Платили, правда, скудно — хозяин фирмы старался сам зарабатывать побольше, сотрудникам же платил мало, но в общении был всегда вежлив, шутилив, обаятелен, порою даже заботлив по-отечески. Но Женя считал этого человека «конфеткой из говна», то есть кусочком капиталистического шайссе в симпатичной упаковке. Впоследствии Йогурту пришлось убедиться, что он ошибался в этом человеке.

В общем, многие мечтали бы о такой работе, а Йогурт страдал — видимо, его избаловали в детстве, или он слишком много читал в юности, или же был натурой гордой, страстной и мечтательной.

Йогуртом прозвали его, кажется, еще в школе — откуда это имя взялось, трудно сказать. Возможно, он любил йогурты и приносил их из дома, чтобы съесть на переменах, и в таком положении — со стаканчиком йогурта в руках — попал на язык школьному остролу. Очень может быть. А может быть, в старших классах он немного увлекся йогой, и как-то раз горделиво сказал товарищу:

«Я йог».

«Да какой ты йог! Ты — йогурт!» — заржал товарищ. И кличка приклеилась.

Действительно, было в нем что-то кисло-молочное, в его белой коже, в его общей изнеженности и ранимости, а его темные глаза напоминали две черные смородины, плавающие в йогурте.

Он бы и вовсе не работал, лежал, как Обломов, на диване с книжкой или видеофильмом, но Йогурт был юноша влюбчивый, а влюбчивому человеку всегда нужны деньги. Таков, в самых общих чертах, наш герой — отчасти даже типичный молодой московский человек из разъехавшейся интеллигентной семьи.

Сейчас, в этом осеннем парке, он должен был встретиться с заказчицей. Заказчица была новая, он ее никогда раньше не видел, но шеф предупредил, что заказ наклеивается серьезный, ответственный. «Встречу в парке» назначила она, и это, показалось Йогурту, странный стиль. Давно уже не принято назначать деловые встречи в парках, разве что, наверное, среди шпионов. Йогурт отправился на эту встречу с привычным отвращением, но тут, в этом прозрачном сентябрьском свете, это отвращение к предстоящему свиданию стало вырастать до космических размеров. Он заранее предвкушал себе эту женщину, супругу богатого мужа; знал, как она будет одета, какие на ней будут бриллианты, какой шарфик, какая прическа, какие на ней будут перчатки, из какой она выйдет машины, какой шофер галантно откроет перед ней дверцу... Все они, буржуи, до тошноты предсказуемы. И так не хотелось в этот ясный день всего этого — этих бриллиантов, перчаток, разговоров о плитке, паркетах... Он медленно шел по аллее, окутанной сиянием и пустынной, из мусорных урн поднимались дымки, как из храмовых курильниц, было так поэтично, одиноко, хотелось сочинять стихотворение или музыку, но голова ос-

тавалась пустой, как этот парк. В перспективе аллеи виднелись парковые ворота — и к ним подъехал черный брабус, такой в точности, как предвкушал Йогурт. Шофер вышел и галантно открыл дверцу, выпустив даму. Женская фигурка в черном, субтильная, не очень высокого роста, пошла по аллее навстречу Йогурту.

И тут нечто странное произошло с сознанием юноши. Запредельная жуть охватила его, как будто померк солнечный свет, пестрая листва будто подернулась толстым льдом, дальние окна домов вытарасились, словно глаза людей, увидевших нечто ужасное. Йогурт встал как вкопанный, волосы на его голове поднялись дыбом и зашевелились с легким шорохом и шипением, как змеи на голове Медузы Горгоны, пальцы его свело судорогой и он чуть не выронил на асфальт тяжелый каталог с образцами плиток и паркетов. Кровь отлила от лица, и лицо его, и так всегда белое, стало совершенно белоснежным. Колени заоченели, ноги подкосились, зубы ударились о зубы с громким вещественным стуком.

Женщина, между тем, приближалась — неторопливо, но и не слишком медленно. Когда она подошла, Йогурту удалось более или менее овладеть собой, подавив вспышку странного состояния. Женщина оказалась красивой, на вид ровесница Йогурта (тому стукнуло двадцать пять в этом сентябре). Первое, что бросилось в глаза молодому человеку, — поразительное сходство этого лица с Лив Тайлер, о которой он думал недавно.

Но она была субтильнее, нежели Лив Тайлер — узкоплечая, узкобедрая, бледная. В ушах блестели маленькие бриллианты, на шее, на запястьях — неизбежное золото, впрочем, не очень броское. Одея в черное, узкое.

— Анна, — представилась она, не протягивая руки в серой замшевой перчатке.

— Евгений, — произнес Йогурт слегка заплетающимся языком.

— Образцы у вас? — она кивнула на толстый каталог, который он держал в руках. — Присядем на скамейку, я взгляну.

Они присели, она стала листать каталог. Она разглядывала образцы с каким-то пристальным, мрачным напряжением, время от времени хмуря четкие брови. Йогурт оцепенело смотрел то на ее немного изможденное лицо, то на ее руки в перчатках.

— Вы очень похожи на Лив Таилер, — сказал он рассеянно.

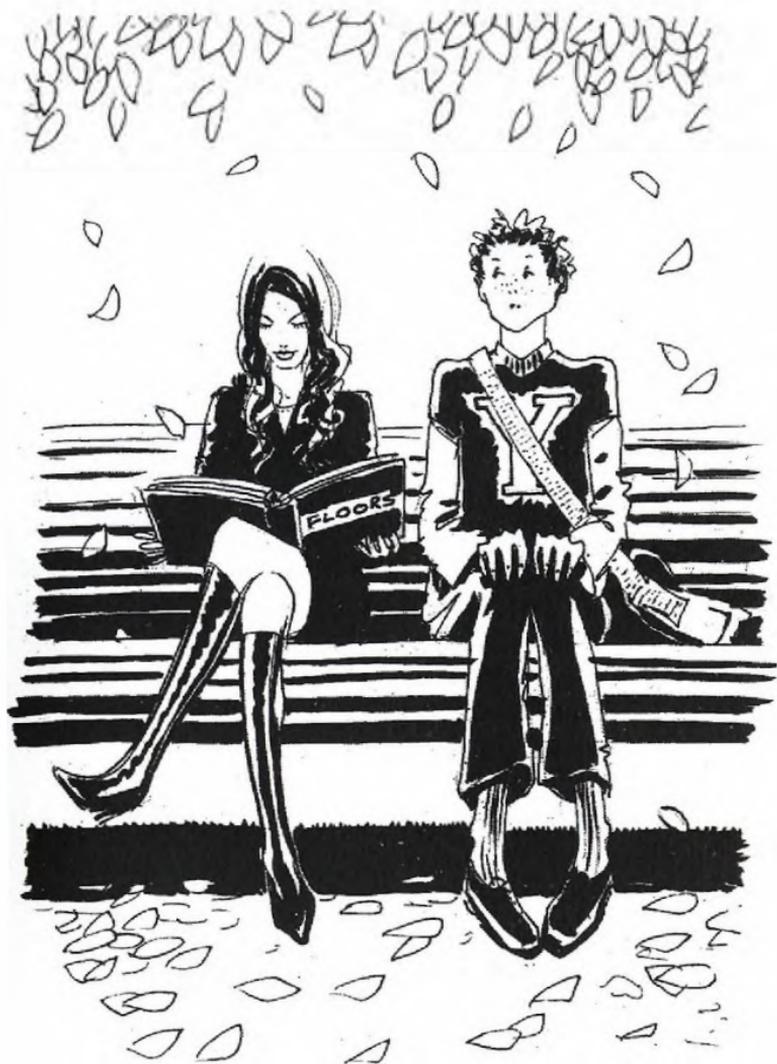
— Кто это? — хмуро спросила Анна, не отрывая взгляда от каталога.

— Актриса. Она играла в фильмах «Армагеддон», «Властелин Колец». И еще во многих...

— Я не видела, — ответила она без улыбки. — Все это не подходит, — она захлопнула каталог и вернула его Йогурту. — Мы с мужем недавно купили квартиру, недалеко отсюда. Двенадцать комнат. У нас индивидуальный заказ, по нашим эскизам. Предлагаю сейчас проехать туда, я покажу вам квартиру, эскизы, после чего вы сможете решить, беретесь ли вы за эту работу.

Йогурт согласился. Квартира оказалась действительно поблизости, на Новинском бульваре — квартира огромная, пустая. Из окон всех двенадцати комнат открывался роскошный вид на американское посольство, Белый Дом, Нащокинский домик, на огромное готическое здание на Площади Восстания.

Йогурт первым делом бросил профессиональный взгляд на пол — везде, во всех двенадцати комнатах, лежал добротный сталинский паркет, прилично сохранившийся (видимо, полы были почти везде прикрыты коврами и незначительно пострадали от времени).



Вы очень похожи на Лив Тайлер, -  
сказал он рассеянно.

— Чем он вас не устраивает? — спросил он, кивая на пол. — Его можно отскоблить, заново покрыть лаком... Неплохой паркет, дубовый. Такой теперь нечасто и встретишь.

— Дело не в этом. Нам нужны новые полы — в каждой комнате разные. Посмотрите эскизы.

Она протянула ему папку. Йогурт открыл — на первом листе был план квартиры, затем эскизы полов для каждой комнаты. Материалы и орнаменты полов в разных комнатах сильно отличались друг от друга и вообще были довольно необычными. Йогурт понял, что впервые за время его работы во «Флорз» он заинтересовался заказом. С первого взгляда ему было ясно, что это затейливый, сложный, очень дорогой и весьма оригинальный заказ, ничем не похожий на привычные капризы состоятельных клиентов. Эскизы были нарисованы профессионально, даже с излишней, пугающей виртуозностью и точностью. Рисунок уверенный, местами даже залихватский.

— Это вы рисовали? — спросил он.

— Да. У меня есть художественное образование. Вы беретесь за эту работу?

— Мы выполняем индивидуальные заказы. Материалы достаточно специальные. Я наведу справки относительно технической реализации проекта, затем составлю смету и вы ознакомитесь с ней. Если цена устроит вас и вашего супруга, мы постараемся с максимальной точностью реализовать ваши идеи.

— Хорошо, я думаю мы сойдемся в цене. Поверьте, для нас это очень важно.

Анна внезапно взглянула Йогурту прямо в глаза.

— Видите ли, есть две причины особой важности этого задания. Первая — мой муж очень необычный человек. Он — поразительный человек. Он не подчиняется установленным правилам, он живет так, как свойственно ему одному. И он... Лежит на полу.

— Как? — не понял Йогурт.

— Да. Он не сидит, не ходит...

— Он болен? Парализован?

— Нет. Он абсолютно здоров. Это его решение. Так ему нужно поступать. Он не ходит, не спит на кровати, не сидит на стульях. Он всегда лежит на полу или ползает...

Так он решил.

Он лежит то в одной комнате, то в другой, иногда уткнувшись лицом прямо в пол, потом переползает в другое место... Когда ему нужно ехать на работу, он сползает на животе по лестнице, орудуя руками и ногами. Как ящерица. У него очень сильные руки и ноги. При этом он старается не отрывать живота от ступенек, от асфальта. Он доползает до автомобиля — в его автомобиле сзади нет кресел — там он лежит на ворсистой поверхности перламутрового оттенка. Потом лежит на ковре в своем офисе. Так проводит совещания, встречается с людьми. Спит он, естественно, тоже на полу. И ест. Даже в ресторане, лежа в отдельном кабинете, на ковре.

Теперь вы понимаете, как важно для него качество полов — их поверхность, фактура, разнообразие, подогрев. Наконец, смысл тех орнаментов, тех картин, которыми украшен пол — ведь он соприкасается с этими изображениями лицом к лицу.

— Да... Это странно... — Йогурт смутился.

— Но есть и вторая причина, почему это особенно важно. Это касается четырех из двенадцати комнат. Эти четыре комнаты предназначены для гостей. Дело в том, что скоро исполнится восемь лет, как мы женаты. В честь этого события мы собираемся устроить небольшой ужин. На этот ужин мы пригласили гостей — четыре супружеские пары. Каждая из пар займет одну из четырех комнат. Эти люди для нас чрезвычайно важны, мы глубоко уважаем их, и, можно сказать, с замиранием

сердца ждем того момента, когда сможем принять их в нашем доме в качестве гостей. Мы хотим, чтобы полы в их комнатах содержали в себе некоторое послание лично каждой из этих пар. Мой муж решил, что это послание должно содержаться именно в узорах пола — ведь он всегда лежит на полу. Теперь вы понимаете, как важен для нас этот заказ?

Анна говорила взволнованно, но в то же время с невероятной уверенностью, очень отчетливо выговаривая слова. В глазах ее вспыхивало нечто, что показалось Йогурту огнем любви — любви к ее странному мужу.

Йогурт с неожиданным для себя энтузиазмом взялся за эту работу. Он с поразительной скоростью и сноровкой навел справки о материалах, составил смету. Он также рассказал о встрече с Анной своему шефу. Хозяин «Флорз» улыбнулся:

— Беритесь за работу, Евгений. Я знаю этих людей, они прекрасно заплатят. Ее муж — Гуров — (я его когда-то знал неплохо, даже слишком хорошо) бешено богат.

Йогурт рассказал о странных привычках Гурова. Хозяин остроумно зажмурился, и в его лице зародилось нечто сладко-горькое, язвительное:

— В те времена, когда я его знал, он на полу не лежал. Не те были времена. Это было тогда не по понятиям, пацаны бы не поняли. А теперь он уже и не такое может себе позволить. Такие люди как Гуров — я их много знаю — такое творили по жизни, что теперь любят каяться по всякому — один лежит рожей в пол, другой ездит к отцам-пустынникам, третий заседает в позе лотоса, четвертый строит приюты для больных детей... Господь простит. Работайте, Евгений.

И Евгений работал. Работал с упоением, вдохновенно, первый раз в жизни ему так работалось.

Образ Анны Гуровой поселился в его душе. Он иступленно всматривался в рисунки, которые она передала ему. Что-то гипнотизировало его в этих рисунках, в этих необычайно твердо и уверенно нарисованных львиных головках, абсолютно симметричных, в звездах, леандрах, ландшафтах...

Видимо, он влюбился в Анну Гурову. Любовь эта, впрочем, была странной — отчасти, некоторым краем сознания, Йогурт считал, что попал в некий фильм, где роль Анны играет Лив Тайлер. Он не ревновал Анну к ее загадочному мужу, лежащему на полу. Образ жизни, который этот человек избрал, казался ему великолепным. Он догадывался, что Гуров принадлежит к тем редким людям, которым удалось решить все свои проблемы одним простым и емким способом — просто всегда лежать на полу. Несколько раз он встречался с Анной в той квартире на Новинском бульваре. Там уже всю шло работы над полами — входили и выходили рабочие и мастера: краснодеревщики, мастера укладки плиток... Анна внимательно рассматривала изготовленные по заказу образцы плиток, половиц, ковровых покрытий... Один раз, уже довольно поздно вечером, Анна вдруг позвонила и попросила зайти на Новинский бульвар. Йогурт знал, что в этот час там никого не будет: ни рабочих, ни мастеров... Мысль о том, что они встретятся с Анной наедине, впервые будут наедине с момента их первого свидания — встретятся в этой пустой квартире, в огромных окнах которой громоздится иллюминированный город, под розово-лиловыми ночными небесами... Все это взволновало Йогурта.

До сих пор он никак не проявлял своих чувств, он скрывал свое восхищение, свой любовный бред, теперь же он купил в магазине цветов один довольно редкий, экзотический цветок. Он собрался подарить его Анне — изображение этого

цветка встречалось на одном из ее эскизов, это изображение было перенесено искусными керамистами на поверхности чудесных плиток, которыми уже был покрыт пол одной из комнат — в этой комнате он и собирался подарить ей цветок, ничего особо не говоря.

Он надеялся, что красота и аромат этого цветка смогут выразить его воодушевленное и немного безумное состояние. Он, конечно, не надеялся на какую-либо взаимность, просто хотел по рыцарским заветам выразить свое преклонение.

С цветком в руках он поднялся по лестнице. В подъезде было в тот вечер темно. Кажется, отключили электричество. Он позвонил. Никто не открыл ему. И тут он заметил, что дверь чуть приоткрыта. Он вошел. В квартире тоже не было света, но во всех окнах так сиял город, что и в комнатах было довольно светло. Йогурт был почему-то уверен, что Анна ждет его в дальней комнате, глядя в окно.

Он прошел по большим комнатам — полы почти везде были готовы. Он дошел уже почти до той комнаты, где ожидал увидеть Анну, и вдруг мужской голос произнес за его спиной:

— Вы -- Евгений?

Йогурт вздрогнул всем телом, обернулся. В темном углу комнаты лежал на полу человек. Света было достаточно, чтобы разглядеть: человек был в строгом черном костюме, в белой рубашке с галстуком и начищенных черных ботинках. Он лежал, прижавшись щекой к полу.

— Вы хорошо все сделали. Хотел поблагодарить вас. Я — Леонид.

Мужчина, не приподнимаясь, поднял вверх руку. Йогурт подошел и пожал эту руку.

— Я рад, что вы довольны, — произнес он.

Он чувствовал себя донельзя странно, не понимая, стоит ли ему присесть на корточки или про-



Он чувствовал себя донельзя странно, не понимая, стоит ли ему присесть на корточки или продолжать стоять, ощущая, что лицо собеседника находится на уровне его ботинок.

должать стоять, ощущая, что лицо собеседника находится на уровне его ботинок.

— Анна говорила вам о моих привычках, — сказал Леонид (голос у него был низкий, но мягкий). — Никто не понимает меня кроме нее. Но вы — художник, и, видимо, вы тоже отчасти поняли меня. Во всяком случае, вы сделали все так, как я хотел. Я ценю это. Я пришел к этому решению — лежать на полу — в критический момент. Бывают минуты отчаянья. В такие минуты ты словно ударяешься лицом в пол — мир сплющивается, становится твердой поверхностью. Выход? Простой, я нашел его. Упасть! Упереться лицом в настоящий пол, пасть ниц, смириться, сровняться с поверхностью. И в этой поверхности обнаружить миры, бесчисленные, неведомые, дикие, бескрайние просторы. Неосвоенные земли. О, я мог бы рассказать людям об этих мирах, раскинувшихся под их ногами. Я мог бы поведать о щелях между половицами, об этих ущельях, рассекающих древесные плато, на дне которых тонкая серая пыль лежит как смесь снега и тумана. Я мог бы рассказать о застывших каплях лака, красноватых словно кровь или желтых как янтарь, и в этих каплях, как в мутных увеличительных стеклах, вспучиваются и разрастаются древесные волокна половиц, я мог бы рассказать о крошечных насекомых, что бегают между паркетинами, о капризах линолеума, о его вязких и немного липких волнах, несущих на себе орнамент — кто не купался в этих морях, тот не знает. Я мог бы написать книгу о коврах, ковриках, ковровых дорожках...

Мог бы много тайн поведать о мраморе, граните, кафеле и других подобных галактиках. Мог бы поговорить об асфальте летом и зимой, об асфальте до и после дождя... Я мог бы рассказать о том, каковы все эти материалы на вкус, как изменяется их запах, как пахнут следы старых тапочек и следы

дамских сапожек... Я мог бы пропеть песню о выщербинах, об отколотых кусочках плитки, о царапинах, оставленных мебельными ножками или коготками домашних животных, о вмятинах, оставшихся на месте передвинутых вещей, об электрических розетках, плинтусах...

Я мог бы открыть людям целый мир, но зачем? Этот мир и так открыт для всех — для каждого, кто ляжет на пол. Но это делают только дети или пьяные. Но я, взрослый и трезвый человек, лежу на полу не первый год. Когда лежишь на полу, возникает много новых желаний, новых фантазий. Я пересказывал их Анне, она под эти рассказы рисовала эскизы для полов, для нашей новой квартиры... Вы отнеслись к делу с душой, поработали на совесть, ведь вы понимали, что работаете для человека, который единственный сможет по-настоящему оценить ваше искусство, глубоко проникнуть в суть вашего дела. Вы вправе гордиться вашей работой. Но, кроме гордости за хорошо сделанное дело, вы получите и деньги — вдвое больше той суммы, что обозначена в нашем договоре как сумма вашего гонорара. Это знак благодарности от меня и моей жены.

— Я принес вашей жене цветок, — растерянно сказал Йогурт.

— А это вы зря. Она не переносит цветов. Бросьте его в окно.

Гуров, не отрывая лица от пола, указал на приоткрытое на улицу окно. Йогурт повиновался — он подошел и бросил цветок в окно. Проследил, как он упал на асфальт бульвара и остался лежать там, на этом ночном асфальте, яркий и прекрасный.

— А теперь идите, — сказал Леонид, — я хочу еще побыть здесь один. Полежать во всех комнатах. Почувствовать телом душу своего нового дома. Мне здесь жить.

Леонид снова поднял руку. Йогурт наклонился, снова пожал эту протянутую снизу руку — и вышел.

После этого он видел Анну еще раза два или три, в какой-то суете, в присутствии еще каких-то людей. Затем работа была закончена, Йогурт получил деньги (вдвое больше, чем он рассчитывал), и он больше ничего не слышал о Гуровых, пока не минуло около месяца или даже чуть больше.

Как-то раз утром он пришел, как обычно, на работу во «Флорз», и ему сразу же сказали, что его дожидается посетитель. Йогурт взглянул издали на этого посетителя, который сидел в кресле, напротив рабочего стола Йогурта. Какой-то старик. Одет как-то по-курортному, в белый парусиновый костюм, в белой украинской рубашке с мелкой вышивкой по вороту, в белых туфлях. На коленях он придерживал белую летнюю шляпу.

«Это еще что за летний букет?» — подумал Йогурт, пытаясь на глаз определить размер и тип работ, которые могут быть интересны такому старику. На вид старик неопределенный — такой может быть и англичанином, живущим в Москве по чудачеству, и старым партаппаратчиком, чьи дети преуспели в бизнесе и только что преподнесли старику новую квартиру в центре, где он собирается наложить точно такой же паркет, какой был у него в маленьком кабинете на Старой Площади. Йогурт приблизился к старику.

— Вы — Евгений? — спросил тот.

- Да.

— А меня зовут Сергей Сергеевич Курский, — старик протянул визитную карточку, на которой значилось: Сергей Сергеевич Курский. Больше ничего написано не было.

— Видите ли, я когда-то работал в Московском уголовном розыске следователем по особо тяжким

преступлениям. Я давно на пенсии, живу в Крыму. Иногда со мной советуются... Но тут произошло одно дело, и мой ученик Юрасов назначен вести следствие. Он позвонил мне почти в отчаянии. Он позвонил и попросил приехать, помочь ему в этом сложном деле. Я не смог отказать. Так что я здесь как помощник следователя, если желаете. Хотя официально я целиком и полностью частное лицо. Я знаю, что вы не так давно занимались полами в квартире Леонида и Анны Гуровых на Новинском бульваре. Так ли это?

— Да, это так. А в чем дело?

— Гуровы были два дня назад убиты. А с ними еще восемь человек их гостей.

Йогурт вздрогнул всем телом и зачем-то посмотрел в окно. Там шел дождь. Что-то гигантское и совершенно пустое стояло за этим дождем. Словно это была колоссальных, космических размеров картонная коробка для ботинок, но в ней не было ботинок. В ней ничего не было.

— Я так и знал, — неожиданно произнес Йогурт. — Я знал, что так будет.

Ему показалось, что сказал он это не своим голосом.

— Вот как? — заинтересованно посмотрел на него старик. — Откуда?

Йогурт безучастно пожал плечами.

— Было что-то конкретное, что заставило вас так думать? — спросил следователь.

— Нет, ничего конкретного. Просто предчувствие. Кто их убил?

— Пока не знаю. Вообще-то там произошла настоящая бойня. Десять человек. Убийство очень жестокое. Похоже, между ними случился конфликт и... Про Анну Гурову можно с уверенностью сказать, что она убила двоих из своих гостей, прежде чем убили ее.

Дело осложняется тем, что все убитые, кроме супругов Гуровых, — иностранцы. Это четыре супружеские пары: двое американцев, двое англичан, двое немцев и двое французов. Все это придает событию особо скандальный и уже политический характер. Все убитые были богатыми, достаточно заметными людьми... Посольства этих стран не на шутку встревожены, задействован МИД — все это давит на следствие.

— Как это произошло?

— Насколько мне известно, Гуровы собирались отметить восемь лет их супружества. В честь этой даты они устроили ужин. На этот ужин они не пригласили ни одного родственника, никого из тех, кто присутствовал на их свадьбе восемь лет назад. Не пригласили никого из своих московских друзей. Они пригласили четыре иностранные супружеские пары, и, похоже, эти люди прибыли из своих стран специально для участия в этом ужине. Никто из них никогда раньше не бывал в Москве и вообще в России. Все прилетели за день до назначенного ужина.

Гуровы встретили их, привезли к себе домой, в известную вам квартиру на Новинском бульваре. Каждой паре они предоставили по отдельной комнате — в квартире было как раз четыре гостевые комнаты. Гости провели ночь в квартире хозяев, весь следующий день они осматривали достопримечательности Москвы: посетили соборы Кремля, Мавзолей, Грановитую палату... Вечером произошел ужин. Закончился этот ужин смертью всех присутствующих. Странных обстоятельств здесь несколько. Во-первых, удивляет разнообразие средств убийства — среди жертв есть отравленные, застреленные из пистолета, зарезанные ножом, удушенные... Необычно, когда десять людей погибают в одной квартире, в один вечер, и столь разными способами. Но есть и более странная де-

таль... Именно эта странная деталь заставила меня обратиться к вам. Я поговорил с вашим шефом: он рассказал мне, что полы в квартире Гуровых были изготовлены вашей фирмой по индивидуальному заказу...

— Да, это так.

— Дело в том, что в тот вечер в той квартире были уничтожены не только люди. Во всех комнатах уничтожен пол. Паркет, плитка — все разбито, взломано, превращено в хлам... Ковровые покрытия изрезаны, местами даже облиты серной кислотой. Согласитесь, это заставляет задуматься. Возможно, кому-то обязательно нужно было уничтожить какие-то следы. Другой возможный вариант — искали тайник. Искали что-то, что можно было спрятать под покрытиями полов. Гуровы не просили вас изготовить тайники в полу, двойные покрытия, емкости?

— Нет, никаких тайников там не было. Во всяком случае тогда, когда я сдавал работу.

— Вот как. Это важно. Конечно, они могли изготовить тайник после. Это было бы вполне логично. Ваш начальник сообщил мне, что полы были сделаны по эскизам Анны Гуровой. У вас сохранились эскизы?

— Оригиналы я вернул ей. У меня есть копии.

— Любопытно бы взглянуть.

Йогурт достал папку из ящика стола, протянул ее Курскому. Следователь стал внимательно разглядывать рисунки Анны.

— Да, дорогой Евгений, у вас было предчувствие, что эти люди погибнут. Оно вас не обмануло, ваше предчувствие. А у меня есть предчувствие, что именно вы сможете оказать мне решающую помощь в этом деле. Поэтому я и рассказываю вам столь подробно об этом убийстве, чего вообще-то делать не должен. Анна Гурова отлично рисовала, я вижу.

— У нее было художественное образование

— А где она училась?

— Не знаю.

— Рисунки великолепные. А вот и образцы. Интересно. А это фотографии уже готовых полов. Не так ли?

- Да.

— Очень интересно. Необычные получились полы. Жаль, что их так брутально уничтожили. Да, искали тайник или уничтожали следы... Не стали церемониться с произведением искусства.

Йогурт вдруг схватил Курского за рукав пиджака.

— Послушайте. Эти орнаменты имеют какое-то значение. Во всяком случае, в тех четырех комнатах, которые предназначены для гостей. Она как-то сказала мне: они хотят сообщить некоторое послание своим гостям. И это послание содержится в полах. Она еще тогда говорила, что они будут отмечать восьмилетие свадьбы, и собираются пригласить каких-то определенных людей в гости. Сказала, что эти люди очень для них важны, они их очень уважают. Она даже сказала, что они ждут их «с замиранием сердца».

— Вот как? С замиранием сердца?

— Да, так она сказала.

— Что-либо она еще сообщила об этих людях?

— Нет, больше она о них ничего не говорила.

Курский вынул из кармана листок бумаги и протянул его Йогурту.

— Вы когда-либо слышали эти имена?

Йогурт прочел на листке краткий список имен:

Уолтер и Дулла Уорбис

Эрик и Мэри Финдеслейн

Герхард Фирн и Эрика Лаусс

Бенуа и Мирей Бианкур-Монтфа

— Я этих имен не слышал, — сказал Йогурт.

— Это имена жертв. Пары из разных стран, различного возраста, совершенно разных профессий. Их объединяет только одно — все они достаточно богаты. Но в наши времена богатых людей — море, так что, возможно, это ни о чем не говорит. Что могло свести их вместе? Что заставило этих достаточно занятых и деловых людей бросить свои дела и приехать в чужую, прежде незнакомую страну ради одного праздничного ужина? Почему Гуровы пригласили именно их? Они были близкими друзьями? Но нам пока не удалось установить ни одного факта встречи этих пар в прошлом. Нам помогают, естественно, наши зарубежные коллеги. Пока что все сходятся на том, что эти пары прежде не встречались. Конечно, мы не можем утверждать этого с определенностью.

— Значит, они встретились, познакомились и убили друг друга?

— Или их кто-то убил. Но похоже, что, по меньшей мере, некоторые из них действительно убили друг друга.

Я хотел попросить вас об одолжении, дорогой Евгений, не согласились бы вы заехать сейчас вместе со мной в квартиру, где произошло убийство. Тел там уже, конечно, нет, а пузыри остались.

— Пузыри? Какие пузыри?

— Так мы называем обведенные силуэты убитых, в тех позах, в которых их нашли. Старый розыскной жаргон шестидесятых годов прошлого века... Итак, вам не составит труда?

Курский поднялся, держа шляпу перед собой, перевернутую, словно он вежливо просил милостыню. Йогурт встал как робот.

— Если хотите. Я не знаю, чем могу вам помочь. Впрочем... — его потухшие глаза блеснули огнем внезапного воодушевления и даже восторга. — Впрочем, мне кажется я могу разгадать... Я много думал об эскизах Анны... мне кажется —

вот-вот я пойму, что они хотели сказать своим гостям. Я догадаюсь. Кажется, догадаюсь... — Огонь в глазах Йогурта вдруг погас так же неожиданно, как и вспыхнул. Он хмуро вышел вслед за Курским и сел в поджидавшую их машину.

Вскоре они уже находились в злополучной квартире на Новинском бульваре: сегодня ровный серый свет пасмурного дня наполнял эти двенадцать комнат. По стеклам больших окон струился дождь. Полы во всех комнатах были действительно грубо уничтожены — битая плитка и вывороченные, разбитые, искромсанные куски паркета хрустели под ногами. Как будто здесь прокатилась война. На разрушенных поверхностях полов краской были обведены силуэты обнаруженных тел — так называемые «пузыри».

— Пузыри земли — подумал Йогурт словами Шекспира. Они походили по комнатам. Кое-где кровь виднелась на стенах, на разбитых полах. От этих комнат на Йогурта повеяло Апокалипсисом, пальцы на его руках время от времени сводило странной судорогой и рукам становилось холодно, словно он опускал их в холодную воду.

— Наступает конец времен, — глухо проговорил юноша.

— Насчет конца времен — не знаю, а вот для моего ученика, следователя Юрасова, наступили тяжелые времена, — отозвался Курский, стоя у окна. — В доме напротив очень волнуются по поводу произошедшего здесь. — Старик указал на огромное желтое здание американского посольства. Над входом висел американский флаг, отяжелевший от дождя, и, как всегда, группа людей томилась у входа в визовый отдел консульства. — А если волнуются люди в домах, увенчанных этим флагом, то они умеют сделать свое волнение неприятным для остальных. Не в этом ли здании находят-

ся настоящее правительство нашей — увы, практически колонизированной — страны? Я имею в виду нашу с вами Россию. Убитый здесь Уорбис был в Штатах достаточно влиятельным человеком. Если бы среди жертв не было Уорбиса и его жены — мы бы не находились бы здесь сейчас. Никто не стоял бы на ушах, мне не пришлось бы мчаться в Москву из солнечного Крыма, а вы спокойно занимались бы своими полами уже в других квартирах. Дело рассматривалось бы в спокойном рутинном режиме. Но таковы реалии нашего времени — убийство двух американцев значит в сто раз больше, чем убийство остальных восьми человек. Это позорно, это прискорбно, но... — это факт.

— Меня не волнуют ваши американцы. Мне только одно надо понять — кто и зачем убил Анну, — сказал Йогурт.

Курский внимательно посмотрел на него.

— Вы близко узнали Анну Гурову за время вашей работы над этим заказом? Может, знали ее раньше? Дружили?

— Нет, раньше не знал. Не дружил. Общались на предмет только этих полов. — Йогурт кивнул на разбитый паркет. — Но она была красивая. И загадочная. Очень похожа на Лив Тайлер. До ужаса похожа. Знаете такую актрису? Она играла в фильмах «Армагеддон» и «Властелин Колец».

Курский отрицательно покачал головой.

— Нет, не видел. А с Леонидом Гуровым вы встречались?

— Да, один раз. В этой квартире. Он лежал на полу.

— Я в курсе. О чем вы говорили?

— Он благодарил за работу. Потом немного побеседовали про его привычку лежать на полу.

Йогурт попытался пересказать разговор с Гуровым, но про эпизод с цветком почему-то умолчал. Затем добавил:

— Мне кажется, этого человека давила и прижимала к земле какая-то странная сила, разлитая в воздухе. Ему хотелось «заземлиться», ощутить поддержку... Я его понимаю. Я бы тоже лег на пол. Но пол разбит, — он похрустел ботинком в щебне.

Курский задумчиво провел пальцем по стеклу.

— Ваш начальник говорил, что Гуров «кается» таким образом. Сам Гуров утверждал, что ему просто очень интересно наблюдать за жизнью жучков, живущих между половицами паркета. Вы вот полагаете, что его прижимала к полу невидимая сила. А я всю жизнь работал в угрозыске и мыслю банальностями. И поэтому в мою старую голову приходит простая и очевидная мысль — люди лежат на полу, когда боятся. Боятся снайперской винтовки. Многие люди, сходные с Гуровым по роду занятий и по положению в обществе, с удовольствием легли бы на пол и перемещались бы ползком. Но они не могут себе этого позволить. А Гуров смог. Более того, ему удалось представить дело таким образом, что в этой привычке увидели не трусость, а медитацию — или нечто в этом роде. Кажется, многие — как и ваш начальник — считали, что это епитимья, покаяние, духовная практика... Одно это доказывает, что Гуров был необычным человеком, обладал даром внушения, умело формировал мнение о себе... Н-да. Все это, впрочем, его не спасло. И теперь мы полагаем сплошными неизвестными. Мы не знаем, зачем встретились здесь пять супружеских пар из пяти стран. Не знаем пока, поубивали они друг друга или их убил кто-то еще. Входная дверь была заперта изнутри. Никаких следов взлома. Окна заперты изнутри. Это означает: они убили друг друга. Или же нас пытаются убедить именно в этом те, кто убил их или принимал участие в убийстве. Сейчас мы в спальне, отведенной супругам Уорбис.

— Здесь лежало тело американца, — Курский указал в угол, где виднелся силуэт и кровь на белой стене. — Этого солидного господина шестидесяти трех лет отроду, президента одной из преуспевающих компаний, жестоко убили киркой. Этой же киркой затем дробили полы. Это сделано уже после того, как кирку использовали в качестве орудия убийства — крошево, пыль — все это налипло на кирку поверх слоя крови. Кирку мы нашли в соседней комнате, она сейчас на экспертизе. Вот где она лежала. Мы обвели ее. Итак, в этой квартире оказалась кирка. Вряд ли гости могли привезти ее с собой или купить в Москве в промежутках между осмотрами столичных достопримечательностей. Следовательно, кирку кто-то принес, или ее припасли радушные хозяева. Зачем здесь кирка? Выходит, собирались убивать?

— Или собирались дробить полы, — сказал Йогурт.

— Совершенно справедливо. Очень уместное замечание, — и Курский задумчиво повторил: — Собирались дробить полы...

В глазах у Йогурта снова вспыхнули огни, и он схватил Курского за рукав и почти выкрикнул:

— Они для этого и собрались! Чтобы вместе отвязаться на этих полах! Знаете — как русские купцы, которые били зеркала...

— Интересная версия. Очень может быть. Впрочем, эти люди не похожи на русских купцов с их разгулом. Праздничный ужин на 10 человек, который так тщательно готовили Гуровы, был достаточно скромен. Вся еда заказана в ближайшем грузинском ресторане. Они выпили за ужином всего две бутылки красного французского вина, что, согласитесь, немного для десяти человек, собравшихся отметить годовщину свадьбы. К тому же кроме кирки мы нашли два пистолета — каждый из них был использован по назначению в тот

вечер. И, видите, множество пулевых дырок в стенах. Здесь была настоящая перестрелка. Все это произошло где-то между тремя и пятью часами ночи — грохот от выстрелов и бесчисленные удары киркой по полу: все это производило, без сомнения, немалый шум. Глушителей на пистолетах нет. Но все окружающие квартиры были пусты в ту ночь. Большинство квартир выставлено на продажу и еще не куплены. Обитатели двух квартир находятся в длительной отлучке. Наконец, в квартире непосредственно выше этажом живут люди, но в ту ночь все они находились на даче. Знать об этом могли только хозяева. Пистолеты тоже, надо полагать, принадлежат Гуровым, или одному из них. Иностранцы не могли иметь при себе оружие, они прилетели за день до этого, их проверяли при посадке на самолет и при выходе из него... Все указывает на то, что Гуровы собирались убить своих гостей. Возможно, они убили их, а потом покончили с собой — или убили друг друга по договору, предварительно разрушив полы. Но зачем они сделали все это? Может быть, они были ненормальными?

— Леонид Гуров несколько лет подряд лежал на полу и ползал на животе. Нормальным его назвать трудно. Анна не показалась мне безумной. Впрочем, не знаю, я не думал об этом. Да, возможно, оба они были сумасшедшими.

— Ну что ж, это многое объяснило бы.

Они медленно переходили из комнаты в комнату. Вещей было очень мало, обстановка просто поражала аскетизмом (что, должно быть, странно контрастировало с роскошью полов). В столовой не было ничего, кроме длинного обеденного стола и девяти стульев. (Леонид Гуров, будучи десятым, по-видимому, не изменил своим привычкам, и лежал на полу, рядом со стулом своей жены.) В гостевых спальнях стояли только простые, огромные

двухспальные кровати. Не было ни тумбочек, ни ночников, ни платяных шкафов. Кухня выглядела стандартно и безжизненно.

— Они, судя по всему, никогда не готовили, — сказал Курский, — питались в ресторане или заказывали готовую еду на дом.

В комнате, про которую Йогурту было известно, что это «кабинет хозяина», не было вообще ничего — только белые стены и взломанный пол. В спальне хозяев был узкий матрас на уровне пола — на нем спала Анна. Леонид спал рядом на полу. Наконец они зашли в комнату Анны — в отношении этой комнаты она тоже употребляла слово «кабинет». Здесь стоял простой стол без ящиков, на нем большой компьютер. Больше ничего. Обычный стул. На стенах висели четыре картинки. Этим комната отличалась от других — во всех остальных только пустые белые стены, без картин, без обоев. Курский и Йогурт стали рассматривать картинки, повешенные на одном уровне, на одинаковом расстоянии друг от друга. Собственно, это были три портрета и одна небольшая икона. На иконе изображен Иоанн Предтеча — суровый, в темной власянице, на которой был прописан каждый волосок, волосяные волны. Рука поднята в благословляющем жесте. В другой руке тонкий, как копьё, крест. Узкое, бородатое лицо с огромными глазами. Красный, как кровь, нимб. Старославянские, заплетенные буквы складываются в имя — Иоанн Предтеча. Йогурт посмотрел на икону и перешел к гравированному портрету некоего мужчины, в расстегнутой на груди белой рубаше и чем-то вроде тюрбана на голове.

— Кто это? — спросил он у Курского.

— Марат. Один из вождей Великой Французской революции.

Следующим был портрет Ленина, точнее, обычная черно-белая фотография, где Ленин в

черной кепке лукаво улыбается, салютуя правой рукой. Последним в этом ряду, тоже черно-белый, висел фотопортрет человека в черных очках, в черном свитере-водолазке с высоким воротом, с бледным и немного странным лицом. Его белые волосы торчали в разные стороны, как иглы дикобраза.

— Кто это? — спросил на этот раз Курский.

— Это Энди Уорхол, величайший американский художник XX века, — ответил Йогурт.

— Никогда не слышал о нем. Мои познания в американском искусстве оставляют желать лучшего.

— Ну, он был не просто художник, вообще культовая фигура. Основоположник поп-арта. Про него было несколько документальных фильмов по TV, а были и кинофильмы. Например, фильм «Баске» — там Уорхола играл Дэвид Боуи. А фильм Оливера Стоуна «Doors» не видели? Там Уорхол дарит Джиму Мориссону золотой телефон, и говорит: «Мне подарили этот телефон, чтобы я звонил Богу. Но, к сожалению, мне совершенно нечего ему сказать».

— Остроумно, — Курский по-стариковски пожевал сухими губами.

— А еще был фильм «Я стреляла в Энди Уорхола».

— Стреляла? — заинтересовался Курский. — Его что, убили, этого художника?

— Почти. В него стреляла некая Валерия Саланас — она была анархисткой, революционеркой, неудачницей. Она была жалкая, никому не нужная — сидела на крыше, печатала на пишущей машинке манифесты радикального феминизма. Она тяжело ранила Уорхола, и он так до конца жизни и не оправился от этих ран. Эти раны подорвали его организм, и он умер через несколько лет после покушения.

— А вы, я вижу, любите кино? — спросил Курский, словно чему-то обрадовавшись.

— Да все любят кино. А что, конечно, любят — не эти же паркетные мне любить? Я их ненавижу.

Йогурт пнул разрушенный пол.

— Зато теперь вам, наверное, интересно, — улыбнулся Курский. — Вы как будто в кинофильм попали. И вот мы стоим внутри этого кинофильма, судачим. Что вы думаете об этих портретах? Почему Анна Гурова предпочитала видеть на стенах своей комнаты именно эти лица? Что объединяет этих персонажей?

— По-моему, это очевидно, — возбудился Йогурт. — Все эти люди — великие революционеры. Иоанн Предтеча пришел в мир, чтобы строго предупредить всех людей о приближающемся Спасении. Предупредить, что скоро все изменится раз и навсегда. Марат и Ленин устроили огромные революции, вообще все изменили. Уорхол совершил как бы революцию в искусстве — сделал изобразительное искусство зеркалом массовой культуры. В Анне тоже было что-то революционное...

— Это очень интересно. Революционное. Зачем же они тут все встретились, эти парочки? Может быть, все они были членами тайной революционной организации или международной секты?

— Не знаю.

— И я не знаю, Евгений. И это не дает мне покоя.

— Может быть, они нашли друг друга в Интернете, на чатах, и встретились, чтобы... чтобы, скажем, заняться групповым сексом или обменяться на время партнерами? Сейчас это модно.

— Мы обсуждали эту версию с Юрасовым. Первая часть вашего предположения похожа на правду — они действительно могли познакомиться

в сети. Кажется, у них просто и не было других возможностей. Но насчет секса сомнительно. Мы не обнаружили в этой квартире ни одного презерватива, никаких сексуальных гаджетов — ничего как-либо связанного с сексом. Экспертиза говорит, что у всех убитых не было секса по крайней мере два дня. Да и возраст слишком разный — американской паре было за шестьдесят, жена на пару лет старше мужа. Эрику Финдеслейну (англичанин) — 30 лет, его жене Мери — 28 лет. Герхарду Фирну — 51 год, его подруге жизни — 40 лет. Бенуа Бианкур-Монтфа — 42 года, его жене — Мирей — тридцать пять.

— Наверное, у них просто были общие дела.

— Вся проблема в том, что у них не было общих дел. Или мы их не знаем.

— А что это вообще за люди?

— Я все ждал, когда же вы об этом спросите. А вы спросили только сейчас. И вы так и не спросили, как именно погиб каждый из них. А я ведь вам так подробно обо всем рассказываю, как на духу — вас это не удивляет? — в лице Курского вдруг мелькнуло нечто зловещее.

Йогурт подметил это, но тут же забыл.

А Курский продолжал:

— Об этих людях мы знаем немного. Но кое-что знаем. О мужчинах есть что порассказать — особенно об Уорбисе. О женщинах мне сказать пока нечего. Вы, знаете ли, мне очень помогаете — например, ваш рассказ про американского художника. Он навел меня на некоторые мысли.

— Что же это за мысли?

Курский еще раз обвел взглядом четыре лица на стенах комнаты Анны Гуровой.

— Иоанн Креститель, Марат, Ленин, Энди Уорхол... Все же странный ряд лиц. Или не странный? Все они, вы сказали, были великими революционерами. Есть еще нечто, что объединяет

этих четырех мужчин — каждый из них пострадал от руки женщины. Иоанн Креститель погиб потому, что красавица Саломея выпросила себе его отрубленную голову у царя Ирода, в награду за ее прекрасный танец. Жозефина Конде убила Марата ударом кинжала, когда он лежал в ванне. Фанни Каплан серьезно ранила Ленина выстрелом на заводе Михельсона. Энди Уорхол стал жертвой выстрела Валерии Саланас. Здесь висела еще одна картинка — видите, осталась дырочка от гвоздя. Я нашел эту картину на полу в соседней комнате.

Курский показал картинку: отрубленная голова мужчины с бородой.

— Это голова Олоферна, убитого Юдифью. Фрагмент знаменитой картины Кранаха. Итак, пять мужчин-жертв. И пять женщин-убийц.

Йогурт неподвижно смотрел в лицо Курского, его вдруг заинтересовала сеточка промытых морщин на лице старика. При этом Йогурту снова показалось, что волосы на его собственной голове слегка шевелятся, как промерзшие змеи на голове зимней Медузы Горгоны. Но до зимы еще было далеко, дождь за окнами вдруг кончился, облака разорвала чья-то нетерпеливая рука, и октябрьское солнце хлынуло прозрачным золотым потоком в окровавленные комнаты. Все вспыхнуло, заиграло, обрадовалось — даже убитые иностранцы улыбнулись бы сквозь смертное оцепенение, если бы их не унесли отсюда.

Вспыхнули стекла портретов Марата, Ленина и Уорхола, а еще ярче вспыхнул золотой фон на иконе Иоанна Предтечи.

- Вспышка! - произнес Курский загадочным голосом. — Это была война полов. Женщины решили убить их. Но и мужья решили убить своих жен. Эта квартира была заранее задумана как место боя, место, где должна развернуться битва по-

лов — мелкий, но смертельный поединок, в котором все они погибли. Этот небольшой поединок — всего лишь эскиз новой глобальной войны — войны полов, — которая вскоре может вспыхнуть на земном шаре. Женщины и мужчины скоро сойдутся уже не в любви, а в смертельной схватке. И итог этой схватки будет таким же, как и здесь — все погибнут. Идея схватки принадлежит, конечно, супругам Гуровым, потому что только в русском языке слово «пол» имеет два смысла — пол как sex, и пол как floor. Скорее всего, Гуровы были шизофрениками. Я когда-то вплотную занимался преступлениями, совершенными людьми с психическими отклонениями. Трудно сказать, кто был «ведущим» в их парном безумии. Скорее, Анна. Многие говорят, что до брака Леонид был другим. Анна превосходно рисовала, линии ее рисунков отличаются поразительной точностью, все изображения абсолютно симметричны, хотя рисунки сделаны тушью без предварительной карандашной прорисовки, без единой поправки. Я много занимался графологией, исследовал рисунки душевнобольных — такое абсолютное чувство симметрии иногда бывает симптомом шизофрении. Нарисовать совершенно симметричную львиную голову в фас или цветок тигровой орхидеи, расправленный как в гербарии, ей не составляло труда.

Простая, в меру остроумная игра двумя смыслами слова «пол», положенная в основу рекламы вашей фирмы, запустила механизм ее шизофренической фантазии. Конечно, она бы с удовольствием повесила на стены своей комнаты изображения Юдифи, Саломеи, Жозефины Конде, Фанни Каплан и Валерии Саланас, ведь она мечтала оказаться с ними в одном ряду. Но предпочла видеть лица их жертв.

В этих лицах она различала лицо своего мужа, которого она, безусловно, любила. Это была, ви-

димо, убивающая любовь. Леонид, как и многие властные, хитрые и жестокие люди (а он был именно таким), являлся в глубине души очень субмиссивным, он всегда желал лежать, так сказать, на «половом полу». Анна дала ему возможность осуществить это желание. Он стал ее жертвой задолго до того, как она убила его — а она сделала это, и это был единственный в этой схватке удар ножом — прямо в сердце. Удар, поражающий своей точностью — нож вошел в сердце точно по середине! Ее идеальный глазомер, абсолютное чувство симметрии не подвели ее. Так же, без набросков, она а la prima рисовала симметричные лилии и львиные мордочки. Конечно, в сердце — а как иначе? Именно таким должен быть удар любви. Видимо, она также убила Эрика Финдеслейна — единственного мужчину на этой вечеринке, который был молод и хорош собой — она убила его выстрелом из пистолета, с довольно большой дистанции — он стоял в конце коридора. Опять же выстрел поразительно точен — пуля угодила ровно хонько в центр лба. У вас имелся ключ от этой квартиры, когда вы здесь работали?

- Да.

— Вы его вернули хозяевам?

— Копии ключа были у меня и у бригадира рабочих. Я его не возвращал. Они, наверное, поменили замок после окончания работ.

— Они его не меняли.

Возникла пауза, в продолжении которой Курский рассматривал свою шляпу. Йогурту вдруг стало скучно.

— Ну я пойду? - сказал он. - Я вам еще нужен?

— Спасибо, вы мне очень помогли. Не смею вас дольше задерживать, я и так отнял у вас слишком много времени.

Курский подал Йогурту руку, и молодой человек ушел, оставив старого следователя одного в

разрушенной квартире. Старик еще некоторое время вертел в руках репродукцию с изображением головы Олоферна, потом аккуратно убрал репродукцию в папку и тоже покинул квартиру.

На следующее утро Йогурт проснулся совершенно больным, впрочем, это было не утро — дело подходило к четверем часам дня. Он проспал часов пятнадцать. Снились ему отвратительные кошмары, что и не странно после таких событий. Несмотря на долгий сон, он ощущал себя руиной, и эта руина не собиралась вставать со своего дивана. Он лежал одетый, под одеялом, в темную старую квартиру скудно сочился свет сквозь пыльные зеленые шторы. Все тело болело и ломило, голова казалась тяжелой, как пушечное ядро. Его девушка, Лена Шведова, была в отъезде, в Швеции (бывают такие глупые совпадения), она там отдыхала с родителями, и Женя не знал, когда она вернется. Ему стало ясно, что во «Флорз» он больше не пойдет — и не только сегодня, из-за болезни, но вообще никогда. Решение бросить работу явилось перед ним во всей своей несомненности, и это решение — абсолютно твердое и отчетливое — принесло ему облегчение.

Сил не нашлось, чтобы дойти до кухни, но все же хотелось чаю. К счастью, электрический чайник стоял рядом на полу, тут же стояли чашки, пачка с чаем. Йогурт дотянулся до чайника — тот был почти полный — и нажал на кнопку: кнопка засветилась красным светом, вскоре зашелестела вскипающая вода... Сделав глоток горячего чая, Йогурт откинулся на подушку — вот так он теперь и будет жить, думалось ему: потаенно, в глубоком анабиозе, в той застылости, в какую впадают животные во время зимней спячки. Но его спячка не ограничится зимой, она обнимет все месяцы года... *Endless hibernation. Endless...* К своим двадца-

ти пяти годам он повидал мир, и мир ему не понравился. Ему вспомнилось стихотворение «Не понравилось нигде», недавно прочитанное в одном журнале:

Он объездил целый мир  
 Видел Конго и Памир,  
 Видел Перу и Вьетнам  
 Видел сотню разных стран...  
 Возвращается к себе:  
 Не понравилось нигде.

В Небраске неброско  
 В Анголе голо  
 В Гане погано  
 В Гвиане говняно  
 В России морось  
 В Париже жижа  
 В Аризоне зона  
 Гваделупа — залупа  
 В Житомире жид помер  
 В Кракове крикают  
 В Сракове сракают  
 В Бордо бурда  
 В Польше пошло  
 В Бресте пресно  
 В Нице гниды  
 В Нице фрицы  
 На Канарах нары  
 Лондон — гондон

В Китае кидали  
 В Непале напали  
 В Стамбуле обули  
 В Кабуле надули  
 В Загребе загребли  
 В Дели раздели  
 В Назрани насрали  
 В Портсмуте смутно  
 В Плимуте мутно  
 В Шанхае хай  
 В Индии прохиндей  
 В Иране раны  
 В Ираке драки

В Газе газы  
 В Грозном грозно  
 В Грязном грязно  
 В Ливерпуле — ливер, пули...  
 Европа — жопа  
 Турки — урки

Унесите, унесите  
 Карту мира! И сожгите.  
 Бросьте глобус за окно.  
 Разобьется? Все равно.  
 Я ра-зо-ча-ро-вался в мире  
 Буду жить в своей квартире.

— Буду жить в своей квартире! Буду жить в своей квартире! — шептал Йогурт, как заклинание, и трогал кончиками пальцев маленькую, парадоксальную улыбочку, расплывающуюся по его лицу. Но тут же улыбочка эта исчезала, белое лицо каменело, голова тяжело опускалась на подушку, и казалось, здесь лежит античная статуя, глядя неподвижными тяжелыми глазами на грязную комнату. Он, профессиональный дизайнер по интерьерам, ничего не прибавил от себя в этой квартире. Все здесь осталось таким, каким было при покойной бабушке, только еще больше обветшало и состарилось под слоем молодежной мишуры: разбросанных ярких журналов, маек, модных рубашек, видеокассет, технических гаджетов и прочего.

Йогурт лежал несколько часов, потом ему захотелось есть. Он с трудом встал, прошел, шатаясь, на кухню и открыл холодильник. Там (еще одно глупое совпадение) стоял лишь одинокий стаканчик йогурта. Хозяин квартиры вернулся с этим стаканчиком на диван, тяжело упал в слои пледов и стал есть йогурт старинной серебряной ложкой. И как всегда, ему казалось, что он ест свою собственную душу или свой мозг — кисло-сладкий, с фруктовыми вкраплениями...

— Это не йогурт. Это йогурд, — сказал он сам себе, — и я больше не Йогурт, я — Йогурд. Я меняю последнюю букву своего имени! — и он схватил авторучку и стал лихорадочно подписываться на разбросанных везде листках бумаги, на упаковке чая, на обложках журналов и книг — Йогурд, Йогурд, Йогурд, Йогурд...

Изменение имени вдохновило его. Куда делась античная статуя! Его глаза горели, он исписал своим новым именем скатерть, стены, корешки книг... И, наконец, изможденный, он выронил авторучку из своих вновь похолодевших пальцев и снова упал на диван, восхищенно глядя на дело своих рук. Обежав глазами все свои подписи, разбежавшиеся вокруг него по предметам и поверхностям, он наконец громко произнес:

— Другой. Я — Другой.

Так звучало его новое имя, если прочитать его наоборот!

*(Продолжение данного рассказа,  
возможно, следует.)*  
2005

# АБСТРАКТНЫЕ ВОЙНЫ

Летят два квадрата...

*Казимир Малевич*

Клином красным бей белых...

*Эль Лисицкий*

Я с детства не любил овал,

Я с детства просто убивал.

*Стишок 60-х годов XXв.*

Нашему времени не хватает абстракций — везде сплошная конкретика, да и та по большей части — обман.

Но так было не всегда. И так будет не всегда. Стоит лишь совершить то, что несколько скоропелю называют «просчитыванием ситуации на несколько ходов вперед», как становится ясно, что абстракции не просто вернутся — они вернутся в такой силе, они возьмут столь потрясающий реванш, что все конкретное попрячется по щелям, и там станет жить своей, то ли криминальной, то ли партизанской жизнью. Что же касается развернутых, больших, «общепризнанных» пространств, то они целиком будут предоставлены для осуществления того, что мы называем «супрематической утопией» (в наши дни триумфа конкретного эта утопия воспринимается как разновидность дизайна), но в утопленные глубоко в будущем годы слово «супрематический», возможно, и позабудется, останется лишь свободное саморазворачивание отвлеченных идей и абстрактных фигур, постоянно «шлифующих» себя, доводящих себя до абсолютно завершенного, идеального состояния.

Тогда-то и вспыхнут так называемые «Абстрактные войны» — ведь если происходит свободное саморазворачивание чего-то в пространстве, то это саморазворачивание вполне может натолкнуться на саморазворачивание чего-то другого.

Это утверждение, признаемся, попахивает Временами Конкретного, с их страшными, ограниченными мирами, с их теснотой, с их постоянной борьбой за усеченные и раздробленные пространства. В Абстрактную эпоху в таком утверждении не содержится ничего обязательного, ничего неизбежного (в отличие от Конкретных Веков), такое столкновение будет лишь возможностью, но мы знаем, что такая возможность осуществится по крайней мере три раза — во время Трех Абстрактных Войн: Первой, Второй и Третьей.

Первая Абстрактная Война разразится приблизительно в 4083 году по Человеческому Летоисчислению (людей тогда уже, конечно, не будет, но Человеческое Летоисчисление сохранится в качестве одного из возможных регистров Абстрактного Времени). Грубо говоря, это будет война между Овалом и Окружностью, и теми неисчислимыми абстрактными силами, которые предпочтут занять сторону того или другого.

Политическая предыстория войны такова: в 4077 году по ЧЛ (Человеческое Летоисчисление) Правильный Овал возглавил\* Мир Эллипсов после чрезвычайно продолжительной (хотя и мирной) борьбы за легализацию эллипсов в качестве отвлеченных (условных) фигур — до этого эллипсы подавлялись как «безусловные участки конкретной поверхности, пораженные в идеальных правах».

\* Перейдем на прошлое время, которым принято пользоваться, когда рассказываешь историю войн.

Этот успех вызвал возражения в Совете Идеальных Фигур, после чего на Окружность была возложена миссия устранения Овала и его царства. В течение шести людолет (то есть лет по ЧЛ) Окружность пыталась навязать Овалу так называемый Закон о Размежевании — в соответствии с этим законом, Мир Эллипсов должен был быть разделен на два непересекающихся мира: Мир Симметричных Эллипсов и Мир Асимметричных Эллипсов. Обоим мирам гарантировалась Абстрактная Независимость и предоставлялось Абсолютное Автономное Неограниченное Пространство Разворачивания Внутрь и Вовне, при условии, что эти два мира никогда более не только не смешаются, но даже не вступят в теоретическое сообщение друг с другом.

Естественно, это было категорически отвергнуто Овалом, так как при таком разделении Правильный Овал оставался средоточием лишь одного из миров — Мира Симметричных Эллипсов (МСЭ). В то время как Мир Асимметричных Эллипсов (МАЭ) предполагалось оставить в хаотически упорядоченном состоянии, с дрейфующим, не обозначенным центром (центр типа  $x \rightarrow$ ).

Со стороны Окружности все это было уловкой, направленной на отсечение Правильного Овала от Мира Асимметричных Эллипсов, чрезвычайно насыщенного «возможной энергией».

В этот период не разрешалось использование никаких энергий, кроме «возможной» и «невозможной».

И Овал, и Окружность были совершенно бесстрастны, никакие властные или другие амбиции их не замутняли, друг к другу они относились с дружелюбной прохладцей, если так можно выразиться, однако (как выяснилось) их абстрактные интересы, или их Горизонты Гипотетического Со-

зерцания (ГГС), оказались несовместимы: образовалась Воронка Конфликта, постепенно затягивающая и другие Фигуры и Категории. Всего этого «разогревания» конфликта и, соответственно, начала войны между Окружностью и Овалом можно было бы избежать (весь этот конфликт вполне мог бы остаться теоретической неувязкой, оставленной «на потом» для последующих разработок, — как правило, такие неувязки замораживались с помощью так называемого «Холодного Времени» (ХВ)), если бы не провокационная деятельность одного Желтого Треугольника. О Желтом Треугольнике было известно, что это профессиональный агент-объект из области Возможного Звука, связанный сразу с несколькими агентствами, но ни Совет Идеальных Фигур, ни Конфигурация Категорий, ни так называемый Дом Чисел и Оснований не знали, на кого же, в конечном итоге, работает Желтый Треугольник. На самом деле этот Желтый Треугольник по прозвищу «Оригинал Под Маской Копии» (не путать с другим Желтым треугольником по прозвищу «Хороший Вкус Это Оригинал Под Маской Копии») работал на Гигантский Черный Треугольник (ГЧТ).

Гигантский Черный Треугольник (в отличие от просто Черного Треугольника) считался опасной фигурой в мире абстракций, так как служил источником огромных объемов «невозможной энергии». В принципе, и «возможная» и «невозможная» энергии допускались в Абстрактную Эпоху лишь как временные, регрессивные явления, существующие лишь до появления Идеальной Энергии, призванной слить и уравновесить эти два типа энергоресурсов (над этим проектом работали лучшие Точки Фона). Идеальная Энергия и Будущее считались в те годы синонимами.

Впрочем, и «Идеальная Энергия», и «Работа над Идеальной Энергией», и «Появление Идеаль-

ной Энергии в Будущем» — все это были существа, имевшие статус Категорий и входившие в качестве почетных членов в Конфигурацию Категорий.

Мы не будем описывать все происки Желтого Треугольника (по имени Оригинал Под Маской Копии), все его уловки и диверсии, направленные на разжигание войны между Овалом и Окружностью, — все это делалось в интересах Гигантского Черного Треугольника, для того, чтобы отвлечь внимание от тех нарушений Правил Созерцания, которые допускала эта Фигура-источник.

Все это делалось не только в нарушение Правил Созерцания, но и в нарушение Закона об Отвлеченном Характере Происходящего — основного закона Абстрактного Времени.

Короче говоря, начало Абстрактных Войн поставило под сомнение саму абстрактность Абстрактного Мира. Таково свойство войны — она всегда ставит под сомнение мир, в котором она происходит.

Конечно, Принцип Архива (по поручению Высших Категорий) пытался нивелировать противоречие между ситуацией войны и Отвлеченным Характером Происходящего (ОХП).

Поскольку войн давно не было, Принцип Архива реконструировал чрезвычайно старые и совершенно забытые категории войны: Холодная Война, Звездная Война, Молниеносная Война — этим категориям пытались придать статус «абстрагирующих существ-инстанций», но все провалилось, и эти войны умерли, не успев возродиться.

Поэтому мир погружался в пучину совершенно новой, неизвестной, абстрактной войны.

Война оказалась довольно жестокой, но победу одержала Окружность. Поначалу Окружность терпела поражение за поражением под натиском неисчислимых и непредсказуемых Асимметричных Эллипсов, и вынуждена была постоянно сокра-

щаться. Однако затем Окружность запросила у Совета Идеальных Фигур разрешение обратиться за помощью к Философским Понятиям. Военный отдел Мира Понятий (спешно сформированный) выделил Вещь-в-себе на помощь Окружности. Ударная сила Вещи-в-себе оказалась столь велика, что с помощью этого оружия массового поражения Окружность смогла уничтожить до нескольких бесконечностей плюс и минус-эллипсов в секунду. Операция, осуществленная Окружностью под конец этой войны, называлась Эгида. В результате Овал был полностью поглощен Окружностью и коллапсировал. Война закончилась.

Однако конфликт, как это бывает, приобрел шквально-каскадный характер. Разрушения и злоупотребления, допущенные обеими сторонами во время Первой Абстрактной Войны, некоторые зыбкие и двусмысленные аспекты мирных соглашений, а также продолжающаяся подрывная активность Желтого Треугольника — все это привело в результате к началу Второй Абстрактной Войны.

Это произошло в 5005 году по ЧЛ.

Вторая Абстрактная война (ВAB) длилась 15 людолет и оказалась гораздо более серьезной и разрушительной, чем первая. Это была война между Фигурами и Фоном. Фактически в этой войне, с одной стороны, сражались объединенные Идеальные Фигуры, Категории и Понятия, а с другой стороны — Фон и бесчисленные Точки, Бесконечности, Величины, Поверхности, Линии, Фрактальные растры, Потенциалы, Плоскости и т.п.

На стороне Фона выступили все силы неевклидовых геометрий, все асимметрии, треугольники Серпиньского, все «золотые» и «злые» точки, все перманентно коллапсирующие миры и Астрономические Допущения.

Несмотря на героизм, проявленный в этой войне Объединенными Идеальными Фигурами, Категориями и Понятиями (чего стоит один так называемый «Подвиг Катарсиса»!), Фон одержал сокрушительную победу. После этой победы власть Фона стала неограниченной, но победа далась нелегко, и сам Фон оказался полуразрушенным (не говоря уж о прочих участниках войны). В нем образовались различные дыры, щели и прорехи, которые впоследствии сыграли роковую роль в гибели Абстрактного Мира. Поэтому можно говорить с уверенностью, что именно во время Второй Абстрактной Войны образовался глубинный надлом, постепенно давший о себе знать.

Мирное состояние удалось удерживать под властью Фона довольно долго, более ста людолет, и этот период даже считался временем Процветания: появилось множество новых, прежде невиданных абстракций, и они свободно демонстрировали свои возможности в огромных эксклюзивных пространствах. Но старые раны не заживали, и хотя давно уже не было Желтого Треугольника, но дело его продолжали целые армии трикстеров, везде шныряющих, выискивающих потенциальные «Воронки Конфликта».

И одна из этих «Воронок» сработала! В 6016 году разразилась Третья Абстрактная Война. Поводом для нее стала поначалу сугубо философская полемика между двумя очень старыми Понятиями, долгое время пребывавшими в тени — речь идет о категориях «Всё» и «Ничто». Да, дело началось с мелочи, но эскалация конфликта произошла с ужасающей скоростью, и вскоре война между Всё и Ничто пылала с невиданной силой, вовлекая в себя все новые участки Абстрактного Мира.

Категория Ничто обладала гигантской, тщательно налаженной агентурной сетью: Всё и его

союзники никогда не могли быть уверены в том, что самые ближайшие их соратники не работают на Ничто. На стороне Ничто выступили все так называемые Забытые Силы. Само по себе название «Забытые Силы» было всего лишь вежливым обозначением тех сил, которые в Абстрактном Мире не обладали полноправным статусом, они считались не вполне абстрактными и поэтому для их обитания были предоставлены так называемые Символические Пространства — пространства, так сказать, низшего сорта — в Абстрактном Мире объекты-сущности, влачащие за собой шлейф слишком уж конкретных значений, считались «грубыми», их называли «неотесанными», «неотшлифованными» — в общем, они подвергались легкой дискриминации, и поэтому воспользовались случаем, чтобы восстать против Абсолютных Абстракций.

Таковыми были Знаки и Языки: на стороне Ничто выступило более трехсот шестнадцати совершенно забытых языков, почти все языки, за исключением нескольких чисто математических, которые сохранили нейтралитет. На стороне Ничто выступили все числа, все буквы, сотни тысяч слов, а также такие символические знаки, как Крест, Пятиконечные Звезды (Красная и Белая), Шестиконечная Звезда (так называемая Звезда Давида), две Свастики (Левосторонняя и Правосторонняя), Знак Инь-Ян, Полумесяц, Знаки Валют (Доллар, Евро и Фунт Стерлингов — эти знаки сохранили свою силу, хотя самих денег уже давно не было), и множество других знаков. Наконец, на стороне Ничто находился Черный Квадрат — объект-оружие невероятной разрушительной силы.

Однако на страже интересов Всего твердо стояли Куб и Шар, Окружность, все Треугольники, Космическая Спираль, Точки, Поверхности, Множе-



Мы — слова, мы хотим умереть за нее,  
 За девчонку из Гаттлби-Той, за нее,  
 За девчонку с пьяными глазами из Гаттлби-Той.

Мы подняли наш флаг, над Мангорами враг,  
 Неподвижный убийца над Гаттлби-Той!  
 Он шлифован и груб, это — Царственный Куб,  
 И он вечной порой, подвечной порой  
 В белом небе парит над Гаттлби-Той,  
 В вечно белом над Гаттлби-Той!

Этот Куб убивает слова, убивает слова,  
 Молодые слова, загорелые слова...  
 Мы умрем, как один, здесь в Гаттлби-Той,  
 Мы — слова этой песни, что, губу закусив,  
 Пела пьяная девочка из Гаттлби-Той,  
 На Мангорский глядя пролив.

Никаких проливов, губ, флагов, морячек - всего этого там быть не могло. Все это условности текста, порожденного раненым и умирающим языком. Однако из данного фрагмента с абсолютной ясностью видно, что в ходе этих битв уже происходил распад Абстрактного Мира — в этих отвлеченных пространствах стало появляться все больше конкретики, которую прежде здесь не потерпели бы. Эта конкретика буквально стала «сочиться из всех щелей» — она проникала сквозь разломы, дыры и пробоины Фона, образованные войной. Первой появилась пыль. До этого Абстрактные Миры были чисты, совершенно стерильны — эта чистота являлась условием Совершенного Самосозерцания Фигур, Понятий и Категорий.

Вопрос о материальности Абстрактного Мира остается открытым... Точнее, безусловно, Абстрактный Мир обладал материальным субстратом, но речь идет о материалах далекого будущего — свойства этих материалов не вполне понятны нам, пещерным людям XXI века. То были материалы, порожденные внутри самих Абстракций, изнутри Фигур, Категорий и Понятий: каждая Фигура,

каждая Категория, каждое Понятие Абстрактного Мира порождали изнутри своей сути (целиком и полностью открытой им самим в их Самосозерцании) свой собственный уникальный материал, обеспечивающий их полноту и Идеальную Форму. Эти материалы были (будут) идеально чисты, стерильны... там не было никакой пыли, никакой грязи, никакой вообще — что очень важно — влаги. Ни грамма увлажнения. Все оставалось чистым, сухим. Но тут сквозь разломы и дыры стала проникать пыль, целые пылевые бураны, а затем появилась грязь, влажная грязь — и это было началом конца.

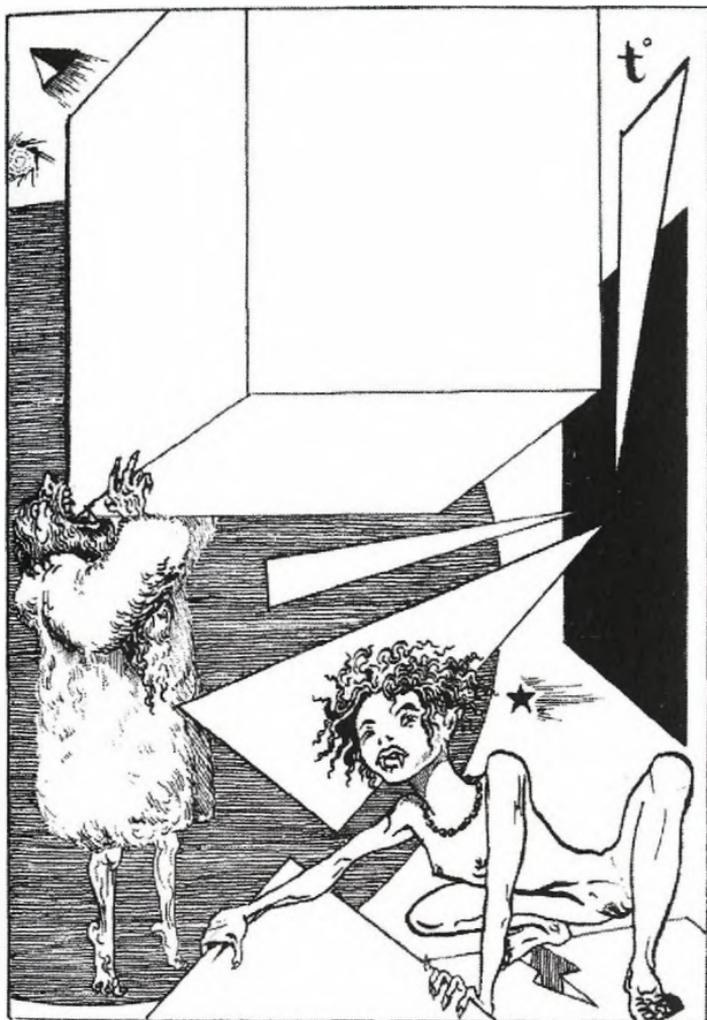
Абстрактные Миры стали «подмокать». Распад этот был величествен и страшен: стали появляться конкретные вещи, доселе скрывавшиеся в глубочайшем подполье, — был увиден камень. Затем, в разгар одной из битв, показался вдруг сквозь какую-то щель целый горный хребет, точнее, его вершина, безжизненная и истерзанная.

Это произвело столь устрашающее впечатление, что сражающиеся прекратили сражение: обе стороны в панике отступили.

Вдруг появился, вылез откуда-то слон — он брел по одному из Разломов поверхности, по самому краю. Наблюдавшим его Фигурам он казался крошечным, но это был настоящий слон обычного размера, весь с ног до головы облепленный мокрой грязью. Он шел как пьяный, его ноги-тумбы заплетались, но сквозь грязь бешеной радостью выживания и реванша сверкали его микроскопические глазенки.

Стало вылезать разное... Какие-то грандиозные руины показались, оставшиеся еще со времен людей.

Вдруг и люди стали появляться — как они выжили все эти века, где скрывались? Неведомо. Первой вылезла девочка в гранатовых бусах на



Стало вылезать разное... Какие-то грандиозные  
руины показались, оставшиеся еще со времен людей.

шее, у нее было волосатое лицо, острые клыки, одежды не было, она умела делать огромные упругие прыжки, но постоянно играла со своими гранатовыми бусами, умиленно им улыбаясь. Потом появился старец в лисьей шубе, совершенно дикий, который пытался грызть края Абстрактных Фигур, отгрызая от них микроскопические фрагменты. Потом и еще появились...

Всё и Ничто заключили мирное соглашение, его удивительно легко сформулировали — оказалось, между ними не существовало серьезных разногласий. Война закончилась, но слишком поздно. В самом конце войны одна из сторон — Всё — совершила действие, имевшее роковые последствия. Все ввело в бой один тайный принцип под названием «Вода». Это был запретный ход, само слово было под запретом.

Тут же заключили мир, но оказалось, что слово «Вода» разрушило Темные Плотины. И хлынуло... Оказалось, гигантские массивы воды находились за границей Абстрактного Мира, искусственно сдерживаемые, о чем не ведали, забыли, вытеснили... и тут хлынуло!

Хлынули могучие волны, забили фонтаны в дырах Абстрактного Мира. Все было смыто и залито водой — и Идеальные Фигуры, и повылазившие из щелей фигурки... Абстрактные века завершились потопом. Наступили жидкие времена.

Удалось ли уцелеть некоторым абстракциям, выжить, приспособиться, обрести жабрами — неизвестно. Удалось ли выжить тем, что повылазили из щелей, волоча с собой особо живучие вещи дикой древности (гранатовые бусы, лисьи шубы)? Неизвестно.

Это все писал не сумасшедший учитель математики, желающий вздрочить детские мозги бай-

ками о войне, чтобы ребяшня лучше училась. И не философ Хуесосов, желающий запечатлеть баталии своих коллег. И не сатирик-говнопляс, индизказательно рисующий говно своего времени. Это писали мы, американские военные, которым безразлична судьба Соединенных Штатов. Поэтому просим отнести к нашим словам серьезно.

Доклад-прогноз составлен по заказу Военного Департамента США. Строго секретно.

*Сентябрь 2005 г., Арлингтон*

Бескрайнее Океано развернулось во все стороны, стопроцентно обнявшее и наполнившее собою все, скрывающее под пеной поверхности бездонные бездны, где сотни тысяч возможностей жизни ежесекундно свиваются в обоюдоострые косички с сотнями тысяч возможностей небытия — вот он мир, сияющий, темный, нерасчлененный, извечный мир сплошного будущего, упокоенный в своем размеренном хаосе, воюющий миллиардами гулких голосов, шепчущий биллионами шепотов, мурлыкающий квинтильонами сладких воркований...

Над этим Океано парит водяная пыль, мокрая взвесь, и ветры сбивают ее в тучи, рвут их, и тучи рассыпаются быстрыми или медленными дождями. Где здесь, в этом мире влаг, лишенном каких-либо Фигур и Персонажей, может найтись место войне?

Однако присмотритесь (на самом деле, некому присматриваться, но все же присмотритесь, дорогие несуществующие): одна из тучек — влажная, набухшая, маленькая — скользит среди других туч быстрее, словно у нее есть путь, есть карта хаоса, и на этой карте она заранее отметила свои продуманные перемещения... И по цвету эта тучка отличается от остальных — она не серая, не изумрудная, не перламутровая, не синяя — она странного лилового оттенка, но не такого, который бывает в тучах в зеленый час грозы, она (повторим) очень странного оттенка: словами этот оттенок не опи-

сать, слезами его бы не выплакать из глаз, но, к счастью, ничьи глаза не видели ту самую тучку.

Вот она выбирает себе место в небе — там, где прозрачнее и разреженнее мокрая взвесь, где нет других туч: в этом месте она останавливается. Вот прекратила свой хитрый бег, вздрогнула, и внезапно из ее недр доносится звук тихого, долгого, чувственного поцелуя, сопровождаемого как бы стоном — с этим звуком тучка низвергается вниз тонкой ярко-лиловой струйкой. О слезы! О мартовский ручей! Вы, слезы и мартовский ручей, вы — слушатели наших речей. Вам сообщаем: начались Приключения Струйки. Пусть это прозвучит непристойно: чем больше порнографии в данном тексте, тем они богоугоднее, наши нескромные пророчества. Впрочем, в Жидких Мирах нет, по сути, ничего графичного, эти миры скорее можно назвать порнотекущими, порнолюющими, порножурчащими, и все дышит порнобесконечностью, порнохолодом, порносвежестью.

Ярко-лиловая струйка прорезает собой толщу Океано, поначалу мутно-прозрачную как топаз, но затем темнеющую, наливающуюся сладкой тьмой, словно черничным соком. Струйка ниспадает во тьму глубинных вод, не растворяясь, не смешиваясь — ее не колышат подводные течения, она, струйка, отважна, ей на все нассать, на все! Достигнув тьмы глубин, она вдруг зажигается собственным светом — розовым, неожиданным свечением сюрприза.

Струйка светится, уходя все глубже, и вдруг из нее во все стороны начинают распространяться микроструйки — струйка разбивается на своего рода дельту, она выстраивается в небольшую сеть, которая опутывает один глубинный участок Океано. Это — атака, военная операция. Она не остается без ответа: из глубин вдруг поднимается Нефтяная Колонна — грандиозный фонтан масляни-



Три жидкости схлестнулись в стычке...

то поблескивающих чернил — этот нефтяной смерч стоит, пошатываясь, и мы видим небольшой золотистый шар, образованный чем-то вроде слабо светящегося масла, который (словно лифт) постоянно поднимается и опускается по телу Нефтяной Колонны...

Три жидкости схлестнулись в стычке — лиловая, светящаяся розовым светом, затем Нефть, и загадочное, золотое полумасло. Бой недолог, силы отпрянули друг от друга. В недрах гигантского живого океанического топаза нарастает гул — это хохот. Этот хохочет Великое Океано, развлеченное стычкой влаг.

*Октябрь, 2005*

В ночь перед битвой солдаты надели белые рубашки. Кавалеристы сидели у костров, курили, тихо переговаривались, многие смотрели на звезды, думая, что видят их, возможно, в последний раз. Кто-то тихо пел песню, печальную и протяжную. Сидящие вокруг задумчиво слушали. Трепещущий огонь высвечивал лица молодые и старые, с пушистыми усами или без усов. Офицеры вышли из своих палаток и сидели вместе с солдатами, или же темными силуэтами стояли, опираясь на сабли. Тонкий дым от костров стлался над бивуаком, иногда в ночных травах стонала птица, далеко за ложиной мерцала алмазная россыпь огней — неприятельский лагерь.

Когда небо посветлело перед рассветом, проскакал офицер в сопровождении казака с пикой, донесли слова команды:

— Эска-а-адрон, в седло!

Послышался звон уздечек, перестук копыт, ржание коней, лязг амуниции — и вот уже гусарский эскадрон стоял наготове, сверкая значками, серебрясь шитьем по черноте мундиров, блестя сабельными рукоятями, ошетинаясь черными киверами и красными плюмажами.

Снова пронесся офицерский крик, и перед эскадром появился генерал на гнедой лошади в сопровождении адъютантов. Лошадь под генералом играла, нервно раздувая ноздри. Самому генералу не было и двадцати лет, его смуглое лицо ка-

залось исполнено воодушевления, волосами играл ветер. Правое плечо повязано красным шарфом — он был легко ранен во время предыдущей стычки с неприятелем.

— Братцы, гусары! — крикнул он, — Положим животы наши за Отечество! Покажем ему, что и как! — он выбросил руку с саблей в сторону неприятеля. — Сам поведу! Благослови Бог! За Россию!

— За Расею! — отозвался нестройный гул голосов, сопровождающийся лязгом сбруй. — С Богом!

Знаменосец развернул знамя, трубач протрубил атаку, и первый луч рассвета рассек синий туман вместе со звуком трубы. И на этот звук, далекий и ясный, ответил такой же трубный клич со стороны неприятеля.

— Гусары, к бою! — раздался крик генерала. — За мной! Вперед!

И эскадрон хлынул вперед, вслед за генералом и знаменосцем, постепенно наращивая скорость и гром скачки. Как странный механизм, тяжелый и звенящий, состоящий из людей, коней и железа, эскадрон двигался вперед, разгоняясь: земля дрожала и сотрясалась под копытами, облака пыли вздымались, окутывая всадников...

Издалека, оттуда, куда они скакали, донеслась ответная дрожь земли, горизонт окутался светлыми волокнами пыли, и сквозь эту пыль стали видны скачущие навстречу всадники. Там тоже плескалось знамя над головами, и по команде обе двигающиеся друг на друга волны оцетинились светлыми на солнце клинками.

Если бы кто взглянул на все это с темных синих облаков, что неподвижно висели на уже ярком утреннем небе, то содрогнулся бы от предвкушения того неминуемо близящегося мига, когда две эти силы сойдутся, ударятся друг о друга со

страшным лязгом и грохотом, смешаются — и все потонет в дыме, криках, пыли, огне и столах сражения... Но расстояние, разделяющее наступающие армии, было больше, чем казалось, — как-то странно выгибался ландшафт, странно гнулась лощина, которой предстояло стать полем битвы. Пыль и воздух, смешиваясь, трепетали и надувались живой переливающейся линзой, увеличивая далекие цепи всадников.

И чем быстрее и грознее скакали гусары, чем ближе они были к неприятелю, тем сильнее загадочное оцепенение проступало в их душах. Это оцепенение проступало сквозь экстаз атаки, сквозь упоение бешеной скачки, сквозь решимость погибнуть за Отчизну, сквозь беззаветную решимость рубить и быть зарубленными... Да, сквозь это святое и извечное бесстрашие проступало изумление — смертельный враг отваги.

И вот уже рты, распахнутые для воинственного совокупного вопля, онемели, оставшись широко открытыми, глаза под сведенными яростью бровями округлились и остекленели, не в силах поверить тому зрелищу, что неминуемо надвигалось, становясь с каждым мгновением все очевиднее... все отчетливее.

В клубах пыли несущейся на них армии они все явственнее видели всадников в таких же точно черных с красным мундирах, в которые были облачены они сами, такое же точно желто-белое знамя с двуглавым орлом плескалось над головой знаменосца, скачущего рядом с неприятельским генералом...

Знаменосец черных гусар, старый солдат с красным лицом, исполосованном шрамами, с белыми длинными бакенбардами, словно повторяющими своей формой размах орлиных крыльев на его флаге, с кустистыми сросшимися бровями над оловянно-светлыми вытаращенными глазами -

он первый увидел свое собственное лицо в ряду скачущих навстречу солдат. Он не мог не узнать себя - эти бакенбарды, светлые, прозрачные волосьяные крылья его лица, он пестовал их истово, он знал эти бледные волосья наизусть, каждый их завиток отпечатался в его сердце — да, он не мог не признать эти крылья на красном лице, не мог не признать неповторимый узор шрамов, которыми расписались когда то на его лице вражеские сабли, не смог не взглянуть в хрустальные от изумления глаза, на которые падала метущаяся тень от желто-белого шелка знамени... И в этих глазах он узрел ответную оторопь, ответное узнавание...

Вторым узнал свой облик молодой генерал — навстречу ему скакал бледно-смуглый юноша, почти мальчик, худой, изможденно-яростный, без треуголки, с растрепанными черными волосами на голове, в черном мундире с белыми отворотами, раненый в правое плечо, перевязанное красным шарфом. И сквозь пыльное марево он явственно различил у него на груди букетик сухих белых цветов — тех самых, что подарила во время последнего свидания... княжна Варенька...

И другие гусары стали узнавать свои лица в наступающем шквале. Возникло смятенье, воздетые клинки дрогнули, кто-то натянул поводья... Смятенье это объяло равномерно обе стороны, и когда войска сошлись, царствовало оно и в тех, и в других. Но были ли другие другими?

Ряды их смешались, две волны наконец-то схлестнулись, но как-то отяжелев и оцепенев в последний момент: солдаты не рубились, лошади изумленно ржали, тыкаясь в шеи и морды своих двойников, люди ошалело прикасались к своим живым копиям, словно желая убедиться, что это не морок и не зеркальная ткань, растянутая в пространстве. Но это был не морок, все было удруча-

юще материальным — и запах конского пота, и пыльные рукава мундиров, и потемневшие перчатки, и усы... Кто-то из особо страстных вояк попытался рубануть сторяча своего двойника, но вышло это настолько слабо и неуверенно, что оставило лишь царапины, и потрясенные зрелищем крови на теле, как две капли воды сходным с собственным, гусары уже оцепенело перевязывали раны своим двойникам. Кто-то переговаривался, спрашивая по-русски: свои ли, не обман ли — и отвечали по-русски: «Свои!», но выговаривали это одеревеневшими от шока губами. Кое-где вспыхивали слова «братцы», «родные», но тут же эти слова, неуверенные в своей уместности, гасли, словно угли в огуречном рассоле. Кто-то обнял двойника и, тяжело поникнув буйной головой, они ехали шагом, седло к седлу... Многие плакали, сидя на земле, глотая медленные соленые слезы — плакали о погибшей войне, об утраченной гибели... Другие, вспомнив гусарскую удаль, танцевали со своими двойниками комаринского и барыню, кто-то, дурачась, затеял кадрили и прошелся в менуэте — ну это, конечно, офицеры, известные озорники. Кажется, уже послали в лагерь за шампанским, за водкой... Замаячили пунш, карты. Один особо лихой, безмозглый и похабно расторможенный балагур-капитан, по прозвищу Дамский Ужас, уже громогласно предлагал своему двойнику помериться мужским достоинством, и ставил целковый, что у него хоть на дюйм, а длиннее...

И только молодой генерал неподвижно сидел в седле, с ненавистью глядя в юное лицо своего двойника. Нервные гнедые под ними словно окаменели, и в ответ генерал ловил столь же ненавидящий взгляд смуглого изможденного мальчика в черном мундире. Их раны на правом плече одновременно почему-то открылись и начали кровото-



...никогда больше никто уже не сможет  
ничего понять...

чить, их смуглые лица становились все бледнее, слабость слегка покачивала их в седлах, и струйки крови, словно шнурки, скатились у каждого на белые сухие цветы, приколотые на груди...

Оба с горечью думали о том, что поединок невозможен, что война проиграна, и что никогда больше никто уже не сможет ничего понять.

*22 сентября 2005*

Был один майор, служил в СС, прославился своей жестокостью. Чувством юмора обладал, но самым скверным. Шутил, мягко говоря, brutally. Как-то раз, в захваченном русском городке, в подпитии, зашел он в русскую церковь. Церковь была оцеплена, рядом везде стояли его ребята — он мог не опасаться. Ходил, скрипел сапогами, смотрел вроде бы фрески. Вдруг видит старенького батюшку — тот хрупкий, в сединах, сгорбленный. Глаза мудрые, кроткие. Совсем древний старичок, непонятно в чем душа держится. А майор неплохо говорил по-русски. Подошел к священнику и говорит: «Исповедуйте меня, святой отец. Грехи мои тяжкие, сердце гложут». Соврал ему, что якобы крещен был в младенчестве по восточно-христианскому обряду. Встал перед старцем на колени, тот его накрыл епитрахилью, стал исповедовать. Майор ему все рассказывает. Что толкнуло этого греховодника майора? То ли подшутить он так решил, то ли действительно захотел облегчить душу. Начал рассказывать о своих подвигах, постепенно увлекся, вошел во вкус. Повествует с деталями, смакует. А дела там были такие, что лучше не знать о них. Священник слушает, кивает... А когда тот дошел до России, до своих зверств в деревнях... Кобуру-то эта свинья забыла застегнуть. А старец одну руку держит у майора на голо-



...бах! На самом интересном месте отпустил ему грехи.

ве, а другую - сухонькую, бледную - тихонько так опустил, вытянул у майора из кобуры пистолет, приставил ствол ко лбу исповедующегося и, прямо через епитрахиль, — бах! На самом интересном месте отпустил ему грехи. Вот, что называется, неудачная исповедь.

*2000*

Летом 2099 года на полигоне Уильям проходили испытания нового танка Енот. Проект был совместный — англо-американско-японско-китайский: и вот группа американских, китайских, английских и японских генералов стояла на краю песчаного косогора, устремив взгляды вниз, где простиралась лесистая местность: это был сосновый лес, солнечный, прозрачный, местами разреженный, пересекаемый песчаными узкими оврагами.

Далеко, до самого горизонта, лежала эта светлая местность, здесь даже хвоя приобрела оттенок песка. То пролетал сухой ветер, пропитанный запахом горячей смолы, то воздух над лесом застывал и дрожал, как вода на стекле, сообщая о зное, скопившемся в оврагах.

Все генералы были в специальных самофокусирующихся очках-биноклях: эти очки были заранее настроены с учетом того, что генералы должны были увидеть, — ведь события, которые собирались развернуться перед ними, были заранее рассчитаны по минутам: таким образом, генералы наблюдали как бы кинофильм, где операторская работа «умных биноклей» (это были оптические мини-компьютеры) накладывалась непосредственно на видимую реальность.

Вот пошло приближение: на них крупным планом надвинулась зелень подлеска, корни, шляпки красных грибов, следы змей, хвоя в песке... и вдруг среди колышущейся зелени мелькнула полосатая спинка Енота.

Енот пробежал немного, выбрался на тропу, и застыл у большого разветвленного корня сосны, отполированного временем, как подлокотники старинного кресла. Сквозь смолистую массу воздуха на генералов глянули тревожно-темные, беспокойно-мудрые глаза Енота. Животное смотрело, вглядывалось куда-то, генералы видели, как вздрагивают светлые, веером распушенные усы на чуткой мордочке, как передние лапы потирают друг друга, стряхивая невидимый песок.

И вдруг Енот стал совершенно неподвижен, словно остановили показ этого фильма, но вокруг него по-прежнему колыхалась трава и трепетал воздух, пролетела белая бабочка, и только Енот стоял неподвижно, как статуэтка.

Это руководитель демонстрации танка тронул клавишу на пульте дистанционного управления. Он остановил Енота. Руководитель демонстрации — это и был отец танка, гениальный, как говорят, конструктор, настолько засекреченный, что никто не знал его настоящего имени. А звали его Петр Игнатьич Румянцев, это был настоящий русский интеллигент, упоенный своим делом, влюбленный в науку, самоотверженный, аскетичный. Он был настолько погружен в дело, что даже не заметил, как его украли из России, не заметил, как не стало потом собственно никакой России...

В своей гениальной рассеянности не заметил он и того, что живет уже более ста лет в совершенном здравии, что у него забыла поседеть борода, что ему так счастливо, окрыленно работается... Да, он выглядел лет на сорок, бодрый, невысокий, чуть ли не чеховского покроя, сухощавый... Веселье науки плескалось в голубых, детских глазах Румянцева.

Он подал знак помощникам, что пора выпускать Танкиста. Несколько помощников стали медленно, вращательными движениями, отвора-

чивать круглую крышку Резервуара, где находился Танкист. Генералы все повернулись к Резервуару, их очки-бинокли показывали теперь лишь с незначительным увеличением, заодно смягчая серебристые сверкания, которыми лучился корпус Резервуара, напоминающий по форме мыльницу, а размером — обычный дорожный чемоданчик. Наконец крышку сняли, и из круглого отверстия Резервуара на сухую землю прыгнул крошечный человечек, ростом чуть больше муравья. Близорукий наблюдатель принял бы его издали за цикаду или жука-землемера, но компьютерные очки генералов немедленно приблизили его облик, стали видны все детали его сморщенного лица, его голое тело, фактурой слегка похожее на древесину. Таких крошечных человечков недавно вывели в секретных лабораториях Пентагона в результате серии тайных успехов в клонировании и генной инженерии, но в тот год, когда такие «военные человечки» появились на свет, словно следуя насмешке судьбы, обнаружили прежде неведомое племя в недрах Африки или Южной Америки — племя состояло из людей такого же точно размера, что и лабораторные «люди-муравьи». Крошечные люди этого племени были очень умны и воинственны, их вовлекли в эксперименты и часть выходцев из племени внедрили с экспериментальными целями в отряды клонированных человечков.

Относительно танкиста никто, кроме Румянцева и еще одного генерала, курирующего данный проект, не знал, кто он — искусственный человечек из лаборатории или сын джунглей. А это был не лабораторный биоробот, а настоящий человек из крошечного народа джунглей. Танкисту было сорок два года, его звали Сын Дневного Сна, что указывало на его привилегированное положение в племени. В этом племени имелась довольно сложная кастовая иерархия, и принадлежащими к выс-

шей касте считались люди, которых зачинали во сне. Точнее, будущая мать ребенка должна была спать, в то время как мужчина оплодотворял ее, и если ему удавалось сделать свое дело, не потревожив ее сна, то ребенок от такого соития считался принадлежащим к правящей касте. При совокуплениях присутствовали специальные свидетели, удостоверяющие сон или пробуждение женщины. Эти люди так тонко чувствовали состояние сна, они были так безукоризненно настроены на улавливание этого состояния, что никакая женщина не смогла бы обмануть их, вздумай она прикинуться спящей. Трудность этого дела усугублялась и тем, что все люди этого племени спали весьма чутко, ведь им приходилось жить в лесах, населенных хищными птицами, животными и насекомыми. В качестве снотворного для подобных совокуплений женщинам разрешалось использовать только сок одного растения, обладающий лишь незначительным успокаивающим воздействием. Поэтому всех знатных людей этого племени звали как-нибудь вроде Сын Сна, Дочь Сна, или же более окольно — Безмятежный Полдень, Отдых после Путешествия, Дочь Забытья, Сын Случайной Дремоты, Отдых на Пальмовых Листьях, и так далее.

Сын Дневного Сна был очень умен, ловок и опытен. Прежде чем стать Танкистом, он долго учился в секретной военной школе, участвовал в многочисленных испытаниях тактических и стратегических микро-конструкций и отличался высокой степенью сообразительности и отличной подготовкой. Однако в интересах секретности ему нередко приходилось притворяться глупым искусственным человечком, гномическим зомби из колбы. Но сам-то он никогда не забывал, что его зачала живая спящая женщина ростом с кузнечика, и родила она его тоже во сне, в щели древесного ствола в таинственном и жарком лесу, в тысячу

раз более насыщенном, сочном и влажном, чем этот сосновый бор. Отцов же своих дети сна не должны были знать, не знали их и матери этих аристократов — женщины, что не проснулись до самого конца совокупления.

Танкист прыгнул на горячую землю, раздвинул стебли убитой зноем травы, мельком взглянул на группу генералов и быстро зашагал вперед по тонкой тропинке. Тропинка светлой нитью стекала по выгоревшему склону косогора, петляла между камней (которые казались Танкисту ослепительно белыми скалами, иногда заслоняющими небосклон), огибала бугры и расщелины, временами исчезала в буераках, но генералы (с помощью очков-биноклей) видели, что струится эта тропинка к застывшему далеко от них, в чаще леса, Еноту — тропинка обрывалась у самого его брюшка. Именно к Еноту и шагал Танкист. И чем дальше удалялся он, тем старательнее приближали его образ «умные» очки генералов.

И вот эти очки уже показывали крупным планом, как Танкист приблизился к застывшему Еноту, ловко уцепился за мех, полез вверх по темной полосе, достиг правой ноздри обездвиженного Енота и быстро и легко всосался в нее. Когда Танкист скрылся в правой ноздре Енота, Румянцев, не удержавшись, разразился коротким легким торжествующим смехом. Он на миг обернулся к генералам, сдвинув очки на загорелый лоб, по которому струились прозрачные струйки пота, — его глаза светились счастьем, а у самих глаз собрались лучики-морщинки, разбегающиеся светом по почти молодому лицу... но тут же он снова надвинул очки и продолжил увлеченно наблюдать за происходящим.

Енот изнутри был роскошен. Танкист скользнул внутрь и огляделся. Все в Еноте было ему зна-

комо, как его собственное маленькое тело. Если бы в Еноте царила непроницаемая тьма, Танкист уверенно действовал бы здесь вслепую: он превосходно помнил расположение каждого рычажка, каждой кнопки... Но в Еноте не было темно: сдержанно и разноцветно мерцали экраны приборов и панели управления, создавая таинственный праздничный эффект. Нет, здесь было не так, как в тесных и душных танках прошлого, в этих жестянках, готовых каждую минуту стать саркофагами или «медным быком» для танкиста. Нет, в Еноте было просторно маленькому человечку, ему делалось здесь хорошо на душе. Создатели танка тонко учли как особенности сознания микро-народца из джунглей, так и странное полусознание лабораторных человечков. Здесь было, как в небольшом храме, торжественно и тихо (звуки поступали сюда через специальные наушники, имеющие форму цветов), и только жужжание редкой пчелы, нехотая проснувшейся, иногда нарушало церковную тишину. Стены храма дышали, излучали глубокое, ровное тепло и уют — ведь Енот был во многом живой, хотя и искусственный, то есть создал его не Бог, а Румянцев. Хорошо спалось пчелам в маленьких ульях — эти крошечные золотые пчелы были влюблены в сон, и пробуждались они лишь по боевому сигналу, пробуждались для короткого полета с последующим приземлением на Полосу.

Ульи были оформлены как маленькие капища, их крыши обросли божками, полудрагоценными и резными, лихие очи божков светились искусственными опалами и топазами, они растопырили свои детские, но когтистые ручонки, на их ладонках из красного и черного дерева линии жизни богов свивались в тонко высеченные спирали и свастики...

Боюсь, обвинят меня в излишней детализации, скажут, что упиваюсь деталями Енота изнутри, но

если бы знали, с помощью каких сложных, не вполне проверенных аппаратов добывается каждая из этих деталей (эти аппараты по своей сложности могут соперничать с аппаратами Енота), если бы знали, с каким трудом составляется данное описание, то разрыдались бы от благодарности за эти детали, имеющие оборонное значение.

И все же невозможно описать Енота изнутри, поскольку не поддается описанию воздух, наполняющий его, теплый и ароматный, несущий в себе едко-сладкое благоухание меда... Да, мы знаем, что лабораторные человечки почему-то обожали пчел — возможно, они узнавали себя в их упорядоченном существовании, в их дисциплине, в структурах сот... Мы также знаем, что народ микролюдей из джунглей считал мед божественным проявлением — и это роднило два народа: народ джунглей и народ из колб.

А Енот уже резво бежал по невидимой тропке, подчиняясь командам. За ним следили очки-бинокли генералов, и в нужный момент танкист прикоснулся к заветной клавише на затылке одного из божков, и началось выделение Меда...

Мед поступал из специальных емкостей, отделанных агатами, по системе трубочек-капилляров он просачивался изнутри на поверхность Енота, пропитывая собою исключительно лишь Темную Полосу, дорожку черного искристого меха, которая тянулась от носа Енота до основания его хвоста. Мед скапливался на кончиках темных ворсинок Полосы, покачивался (словно роса на полевых травах) крупными и мелкими янтарными каплями. Очки-бинокли демонстрировали генералам эти сияющие капли меда подробно, как в природоведческом фильме, несмотря на то, что Енот бежал быстро и взгляду нужно было поспевать за его юркими лапками.



ЕНОТ, ЛИПКИЙ ТАНК!..

В нужный момент Танкист прикоснулся сморщенным пальцем к другой клавише (к зрачку одного истуканчика), и тонкая песня Пробуждения Пчел пронеслась в сладком воздухе танка. Пчелы стали просыпаться, возиться в ульях и одна задругой вылетать из Енота сквозь его чуткие ноздри. Енот бежал, а золотые пчелы кружились над ним и приземлялись на Темную Полосу, привлеченные запахом меда. Постепенно Полоса вся покрывалась кишашими, толкающимися пчелами, становилась золотой, переливающейся, но еще оставались на ней темные участки меха, не занятые пчелами, но этих свободных участков становилось все меньше.

И чем меньше становилось этих незанятых мест на Полосе, тем напряженнее следили за Енотом генералы.

Енот бежал все быстрее, приближаясь к группе белых построек, обнесенных высоким забором — эти постройки белели в сердце соснового бора. Это был муляж, своего рода потемкинская деревушка, построенная здесь специально для испытаний — на вид нечто среднее между военной базой и оборонным заводом.

И вот, когда последняя пчела заняла свое место на Полосе, и вся Полоса стала золотой и кишашей, наполненной увязшими в меду пчелами, — в этот момент Енот привстал, напряжился, сверкнули красным сигналом его тревожные глазки, и длинный и узкий поток пламени вырвался из его правой ноздри и ударил по группе построек. Мощный взрыв раздался над лесом, отпрянули в ужасе светлые сосны, и огромный столп пламени взметнулся над сосновым бором.

Роскошно дрожал он и вздымался, рыжий и бледный в ярких лучах солнца, словно бы ландшафт вдруг высунул гигантский язык, дразня сильнее небо. Красота дневного пожара с запахом за-

кипяющих смол — стоит ли говорить о том, как ослепительна эта красота? Испытание танка прошло успешно, точно по плану. Все получилось.

Румянцев сбросил очки-бинокль на землю, пьяный от счастья, пошел к генералам в распахнувшемся белом пиджаке. Он крикнул сквозь хохот успеха, не в силах более сдерживать ликование:

- ЕНОТ, ЛИПКИЙ ТАНК!

Генералам передался его восторг, они сорвали очки, более не нужные, глаза их лучились.

- ЕНОТ, ЛИПКИЙ ТАНК! - подхватил возглас японский генерал, и его улыбающееся лицо стало похоже на рассыпавшуюся кучку румяных яблок.

- ЕНОТ, ЛИПКИЙ ТАНК! - эхом отозвался американский генерал, старый и смуглый.

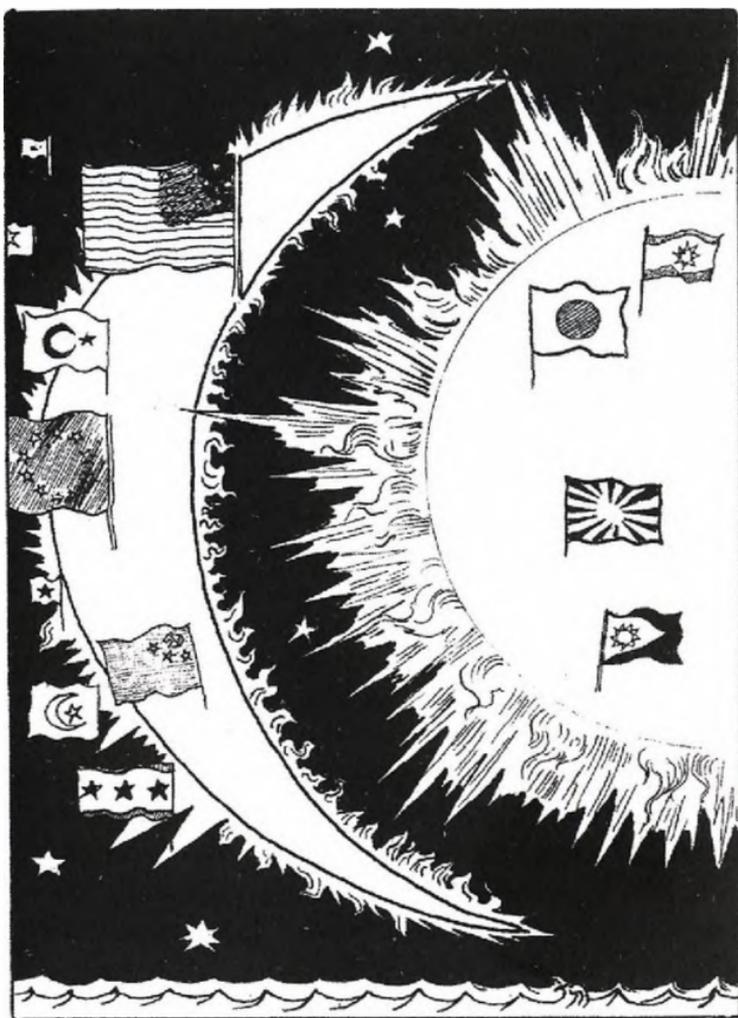
- ЕНОТ, ЛИПКИЙ ТАНК! - повторил за ним китайский генерал, трясаясь от довольного смеха.

- ЕНОТ, ЛИПКИЙ ТАНК! - прошептал молодой английский генерал, чьи рыжие волосы светились на солнце как отблеск лесного пожара.

Одна из войн будущего будет называться «Войной Дня и Ночи». В этой войне на одной стороне будут сражаться страны, на чьих флагах изображено солнце и знаки солнца — эти страны войдут в так называемый Альянс Дня. Сразу следует сказать, что бой, в который предстоит вступить этим странам, будет неравным. Им придется вести войну со значительно превосходящими силами Ночного Лагерьа, то есть с теми государствами, чьи флаги отмечены символами ночи — изображениями звезд и луны. Все прочие страны смогут сохранить нейтралитет.

Итак, на стороне Дня выступят Япония (несомненный лидер этого лагеря), а также Македония, Филиппины, Тайвань, Киргизия, Индия, Казахстан, Бангладеш, Южная Корея и еще несколько стран. На стороне Ночи будут сражаться США (звезды на фоне ночного неба), Европейский Союз (снова звезды на фоне ночного неба), многие страны ислама (полумесяц и звезды), Китай (опять звезды) и многие другие страны, пометившие себя знаками звезд и луны. Россия с ее нейтральным полосатым флагом не будет вовлечена в войну.

Суть этого конфликта состоит в следующем. К тому времени увеличение объема Солнца и усиление его излучений станет не на шутку угрожать климату Земли, да и вообще продолжению жизни на планете. Страны Ночи совместными усилиями разработают проект под названием «Прозрачная Скорлупа». Согласно этому проекту, Земля должна быть заключена внутрь сферы из специального прозрачного материала (один из материалов дале-



Проект «Прозрачная Скорлупа» удастся осуществить, и жизнь на Земле продлится, погрузившись в долгую, прохладную ночь.

кого будущего), эта Сфера будет значительно уменьшать интенсивность солнечных лучей. В случае осуществления этого Проекта на Земле наступит Вечная Ночь — небо станет постоянно темным и усеянным звездами, а солнце утратит сияние и превратится в аккуратный светлый диск, подобный большой Луне. Люди никогда больше не увидят светлого неба и солнечных лучей.

Против осуществления этого грандиозного проекта неожиданно выступят страны Дня — на встрече лидеров этих государств в Осаке они призывают народы Земли предпочесть благородную гибель в яростных лучах Солнца подлому прозябанию в объятиях Ночи. Лидеры стран Дня поклянутся, что их страны будут сражаться до конца за отстаивание своего возвышенного идеала, за Священное Самопожертвование всего живого, за «Великий Дар Божественному Солнцу» — этим даром должна будет стать жизнь живых существ на планете Земля.

Вспыхнет война. Девизом Дневного Альянса станут слова «Утро Огня» — храбрость этих слов дышит пылким отчаянием. Союз Ночи пойдет в бой под более холодным и мудрым девизом, которым станут слова античного философа Канта «Только звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас!»

Несмотря на жестокость войны, она продлится недолго: превосходящие силы Ночи одержат трудную, но полную победу. Режимы Солнца падут, после чего по народам проигравших стран прокатится волна массовых самоубийств.

Проект «Прозрачная Скорлупа» удастся осуществить, и жизнь на Земле продлится, погрузившись в долгую, прохладную ночь.

Великий Запад выполнит свою миссию: уведет всех в синеву Ночи.

Ребенок засыпал с трудом. Он натянул одеяло до самого носа, и блестели над краем одеяла его бессонные глаза. Он ждал дедушку.

Каждый вечер дедушка приходил к нему из своего тихого кабинета, садился в кресло возле кровати и что-то неторопливо рассказывал внуку негромким, как бы раздвоенным голосом. Иногда сказку, иногда древние истории о парусниках, превратившихся в лед, об украденных сокровищах, о героях, царях и странниках. Внук обожал эти рассказы. И только после очередного рассказа посещал его сон — и в снах его опять оживали парусники, сокровища, герои.

И вот за полуприкрытой дверью спальни слышались шаги деда, тихий шорох ветхих ног, обутых в пуховые сапоги. Дверь открылась, тень старика упала в темную комнату вместе с оранжевым прямоугольником света. Затем зажглась старинная лампа над креслом — дед сел и устремил на внука взгляд светлых глаз, воспаленных долгой работой. Свет лампы мягко обнимал его лицо, бархатные рембрантовские тени лежали в глубоких морщинах. Серебрились его седые встрепанные волосы, и таким же металлическим отблеском светила рубашка деда из серебристой ткани. Абажур лампы, сложенный из разноцветных стеклышек, бросал пестрые пятна в это серебро, и в ответ абажуру вспыхивали витражные пуговицы на рубашке деда.

— О чем вам рассказать сегодня, любопытные глазенки? — спросил дед с усталой улыбкой.

— Деда... Расскажи мне о том, что такое Россия, — тихо произнес внук из-под одеяла.

Дед внимательно посмотрел на внука. Возникла пауза.

— Где ты услышал это слово? — наконец спросил дед.

— Не помню, дедуля. Я слышал его несколько раз, и все хотел спросить тебя об этом. Но забывал.

Дед снова склонил голову, подбородок его коснулся груди. Некоторое время он молчал. Наконец он сказал:

— Россия. Так называлась страна, где я родился. Моя Родина. Язык, на котором мы говорим сейчас, когда-то назывался русским языком. Теперь это название позабыто.

— Где она, эта страна?

— Ее больше нет. Как нет и других стран, которые существовали тогда.

— Куда же она исчезла, страна Россия? И куда исчезли другие страны?

Дед вздохнул.

— Это долгая история, внучек. Боюсь я не смогу рассказать тебе эту историю. Я сам ничего не знаю, не понимаю. В этой истории слишком много загадок, и, кажется, об этих загадках забудут прежде, чем они будут разгаданы.

Дед прикоснулся ладонью ко лбу, иссеченному морщинами.

— Тогда расскажи мне какая она была, эта страна, — сказал внук, — ты ведь помнишь ее?

Дед прикрыл глаза и некоторое время сидел молча. Когда глаза его вновь открылись, то смотрели они уже не на внука, а в какое-то далекое великолепное пространство, в них зажегся свежий блеск — вспыхнул отсвет давно угасшей молодости.

— Это была огромная страна, самая огромная на свете. Она была прекрасна и ужасна, сурова и нежна. Что-то жило в ней помимо людей, животных и растений. В ней обитала гигантская душа, просторная и таинственная, о которой столько строили догадок, а она лишь дышала, смеялась и плакала. В ней было всё и в то же время в ней обитало Ничто, ласковое и холодное, снабжающее сердца всех людей на земле необходимым для существования холодком. Так пели птицы по утрам, так стучал дождь по крышам. Так красный солнечный шар стоял над огородами, такие самозабвенные кошмары и праздники гнездились в городах, как цукаты в торте, столько было зла, зависти и святости, такое широкое дыхание шло огромными волнами. Таким ужасом иногда веяло, а какие волшебные тропинки убегали в леса, как уносило мозг от вкуса малины, как звенели железные ведра, как зимой индевели стекла, каким смертным величием дышали заводы и стройки. Какие пьяные были глаза у детей и какие светлые у убийц, какие заросли лопухов, какие зачарованные болотца, какие веселые поезда, какая галактическая скорость, какая медленность, какие научные и мистические озарения на рассветах. Какие влюбленности, какие захлебывающиеся от счастья и тайны любви, какие поцелуи и объятия, что бывали только у нас, в России. Любви, словно дышащие дыханием всей Родины, - как любили нашу страну, - то безумно, то мудро, - как ее ненавидели: и все за дело. За ее прекрасное, странное дело. Столько было жестокости, но каким милосердием светились нежные небесные анфилады, парящие над тягостными зданиями казарм и тюрем. Зато как великолепны были пристанционные строения, водонапорные башни, монастыри, деревянные мосты, элеваторы, распадающиеся детские сады. В периоды, когда деятельность людей

словно бы застывала, когда всё цепенело то от сладкой лени, то от горькой безнадежности — тогда ярче всего проступало сквозь всё нечеловечески прекрасное лицо нашей Родины. Кто видел это лицо хотя бы миг, тот навеки останется влюбленным. Много раз враги пытались поработить нашу страну, но страшная сила внезапно просыпалась в ее святой рассеянности; и враги тоже видели ее лицо, и ее лучезарный взгляд становился убивающим. Кто выживал, тот помнил его всегда. Казалось, этому не может быть конца, как не могут иссякнуть щедрые россыпи черники и земляники, устилающие лесные поляны — это будет существовать вечно под защитой своей безбрежности, под защитой Бога, в силе и беспечности, уповая на святых и ученых, на духов пней и болот, на святость креста и красного флага. Но гибель пришла под видом процветания — тонкой и цветущей сетью оплели нас, эта сеть называлась «исполнение желаний», она оплела нас изнутри и снаружи, эта ядовитая паутина доползла до самых тайных мест, она оплела секретные стержни, и те проржавели и рухнули под теплым дыханием паутины процветания. Нас веками не удавалось взять силой, но, оказалось, нас легко купить, осыпать подарками, развлечь интересными техническими игрушками — так властвуют над детьми и дикарями. Но дело не в нас — дело в душе нашей страны. Почему она вдруг замолчала, почему закрылись ее ясные глаза? Почему перестала порождать святых и героев? Она умирала незаметно, легко, растворяясь и исчезая постепенно, без пафоса и прощаний. Все радовались, радели о делах, а вокруг подобным же образом исчезали и таяли души других стран. Что-то случилось трагическое и страшное — наверное, нечто подобное происходило, когда умирали боги. Теперь умирали страны. Мне не передать тебе, внучек, что мы потеряли вместе с нашей стра-



- К сожалению, внучек, мы бессмертны.

ной — то ли по игрушечной глупости, то ли по велению космического рока. Мы потеряли счастье, беспечность и страх, морозные стекла, прогретые солнцем поляны. И пыль, и запах хвои, и дымы далеких костров. Мы потеряли золотые церкви и дачные веранды с треснутыми витражами. Мы потеряли чудеса и любовь, ярость, лень, свободу, святые сны и вдохновение. Мы потеряли ум — тот самый великий и тайный ум, который тонкими ручьями звенел в наших лесах и душах, питая колдовской мох, питая наш зеленый и влажный текст. Мы потеряли овраги, и чашки с остатками черного чая, и выцветшие занавески на окнах. Выцветшие занавески. Блеклые, ветхие, с исчезающими цветами.

Старец внезапно опустил седую голову и закрыл лицо руками, голос его прозвучал глухо:

— Прости меня, внучек! Мы не донесли, не сберегли для тебя эти выцветшие занавески, эти пни, эти тропы. Мы не сможем напоить тебя этими тропами.

Голос старца пресекался и внезапно быстрые, легкие, почти детские и порывистые рыдания сотрясли его плечи. Сквозь закрывающие лицо старые пальцы струились слезы. Это был плач об утраченной Родине.

Внезапно страшный, нечеловеческий, абсолютно пронзительный визг донесся из постели малыша. Лицо его вытянулось, сделалось белоснежным, огромные глаза(никогда не видевшие того, о чем рассказывал старик) засверкали космической скорбью, рот открылся, из него вылетал немыслимых вибраций вопль — словно режущий звуковой луч он возносился к потолку. Ребенок скинул с себя одеяло, все тело его вибрировало и тряслось. Белый, узкий живот с тонким золотым пупком волновался, как море в дни шторма, а там,

где живот кончался, начинался снизу роскошный, огромный, похожий на рыбий, хвост, украшенный гигантским кораллового цвета ветвящимся плавником.

Вся нижняя часть тела мальчугана покрыта была крупной светло-розовой чешуей, причем каждая чешуйка была оторочена золотом, и на них вспыхивали золотые знаки.

Старик резко встал и распахнул ставни на окнах. Домик их висел в открытом космосе, точнее, мчался с немыслимой скоростью в гигантском потоке других ошметков, остатков, обломков. Летели замороженные собаки, колонны, нефтяные платформы, книжные шкафы, трансатлантические лайнеры, вагоны, крыши, смятые автомобили, камни, ледяные глыбы.

— Родины больше нет. Остался он — Великий Дебрис\*, сверкающий поток космического мусора. Мы с тобой — его часть. Этот мусор нетленен, каждый ошметок давно уже стал, по сути, алмазом невероятной прочности. К сожалению, внучек, мы бессмертны.

*Москва, 2006*

\* *Debris (Orbital Debris)* — космический мусор. В настоящее время около 9 000 осколков (следы предшествующей космической деятельности) диаметром 10 см и крупнее барражирует в космосе. Более мелких искусственных тел насчитывается более 100 000. Осколки на высоте 800 км останутся десятилетиями, свыше 1000 км — на столетия, свыше 1500 км — практически навсегда.